This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

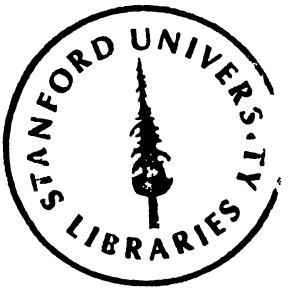
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3350
.189

ANJO



Л. Чертк...

Библіотека „Дѣтскаго Чтенія“.

Ivanov, V. I.
II

ПУШКИНЪ

ОЧЕРКЪ

Ив. Ив. Иванова.

Съ пятью портретами, девятью рисунками и автографомъ.

Цѣна 25 коп.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ
Москва, Б. Молчановка, редакція журнала
„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ“.

МОСКВА.
Типо-литографія А. В. Васильева, Петровка, д. Обидиной.
1899.

PG3350
I89

Дозволено цензурою. Москва, 1-го мая 1899 г.

Александр Пушкинъ

Пушкинъ.

Девятнадцать лѣтъ назадъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ Москвѣ происходило торжество,—первое и пока единственное за всю многовѣковую исторію Россіи: открывали памятникъ *писателю* при необыкновенномъ стеченіи народа со всѣхъ концовъ русскаго государства. Во главѣ публики находились сановники, высшія духовныя лица, знаменитѣйшіе ученые и писатели. Они говорили восторженныя, горячія рѣчи въ память человѣка, послужившаго своей родинѣ поэтическимъ талантомъ и словомъ. Они чествовали его, какъ великаго гражданина и незабвеннаго учителя. Они покрыли его памятникъ вѣнками, простые люди бросали къ подножію букеты живыхъ полевыхъ цвѣтовъ; въ теченіе трехъ дней по всей Москвѣ стоялъ праздникъ — благородный, увлекательный и отнынѣ приснопамятный. Отголоски его разнеслись по всей странѣ и даже—за ея предѣлы. Въ другихъ городахъ такъ же единодушно и всенародно чествовали память поэта, и за этими чествованіями навсегда осталось имя „пушкинскихъ дней". Въ нихъ приняли участіе и иностранцы, оцѣнивая по достоинству заслуги русскаго генія не только предъ его родиной, но и предъ всѣмъ просвѣщеннымъ міромъ.

Прошли годы,—и пушкинскіе дни наступаютъ снова. Многіе, привѣтствовавшіе памятникъ поэту, умерли, и среди нихъ—достойные наслѣдники его поэтической славы—Тургеневъ, Достоевскій, Островскій, Писемскій. Они своимъ при-

сутствіемъ увеличивали блескъ празднества; ихъ рѣчи съ особенной силой дѣйствовали на сердца и умы очевидцевъ, и пушкинскую память превратили въ праздникъ всей русской мысли.

Теперь не будетъ такого величественнаго созвѣздія вокругъ имени поэта. Публикѣ некого встрѣчать съ такимъ пламеннымъ восторгомъ, какой на минувшихъ пушкинскихъ дняхъ сопровождалъ Тургенева; ничье слово не вызоветъ такого невыразимаго волненія, невольныхъ слезъ и долго несмолкавшихъ отвѣтныхъ криковъ, какими увѣнчалась рѣчь Достоевскаго. Сцена дѣйствія будетъ принадлежать людямъ менѣе крупнымъ и славнымъ не столько героямъ, сколько толпѣ, — и празднество, можетъ быть, выйдетъ не столь блестящимъ и красивымъ. Но оно не утратитъ своей внушительности и въ исторіи русскаго общества останется еще болѣе поучительнымъ, чѣмъ первое.

Толпа будетъ преобладать на предстоящемъ праздникѣ, и въ этомъ именно—его великій смыслъ. Девятнадцать лѣтъ назадъ вниманіе всей Россіи было сосредоточено на Москвѣ, и имя Пушкина повторялось тысячами устъ. Но это была преимущественно Россія людей избранныхъ по своему образованію и общественному положенію, — Россія писателей, ученыхъ, учителей и просвѣщеннѣйшихъ дѣятелей. Только въ столицахъ сѣрые, маленькіе люди принимали участіе въ умственномъ праздникѣ своей родины. Народная тропа къ памятнику Пушкина, о чемъ мечталъ самъ поэтъ, еще не была торной и широкой дорогой для народа. Тургеневъ могъ съ полнымъ правомъ говорить, что крестьяне не знаютъ, *кому* и за какія заслуги воздвигнутъ памятникъ въ Москвѣ? Вѣроятно, *учителю,*—скажетъ самый догадливый изъ нихъ.

Догадка,—въ высшей степени, мѣткая, — но крестьянинъ выскажетъ ее безсознательно, не отдавая себѣ отчета въ учительскихъ заслугахъ великаго поэта...

Съ тѣхъ поръ времена измѣнились. Далеко не весь русскій народъ знаетъ даже имя писателя,—но онъ съ каждымъ годомъ приближается къ этой цѣли. Тринадцать лѣтъ прошло послѣ пятидесятилѣтней годовщины смерти Пушкина,—право наслѣдниковъ на его сочиненія прекратилось, и за эти годы каждый могъ свободно издавать и продавать сочиненія поэта. И они издавались въ громадномъ количествѣ, проникали въ самыя темныя захолустья русской земли и постепенно становились любимой, родной книгой въ сельской школѣ и избѣ. Среди народа народился читатель Пушкина, — и ему предстоитъ только множиться и развиваться; и вторые пушкинскіе дни вызовутъ у него болѣе глубокое и сознательное сочувствіе, чѣмъ первые. Онъ знаетъ, чему можетъ научить авторъ «*Полтавы*», «*Капитанской дочки*», «*Бориса Годунова*». Онъ понимаетъ, за что̀ снова имя Пушкина станетъ раздаваться въ хвалебныхъ рѣчахъ по всему пространству русскаго государства; почему власти и частные люди съ одинаковымъ усердіемъ и любовью станутъ вѣнчать геній и личность поэта; почему къ участію въ праздникѣ привлекутъ молодое учащееся поколѣніе и даже отведутъ ему на этомъ праздникѣ одно изъ первыхъ мѣстъ: дѣти будутъ чествовать учителя своихъ учителей, а лучшіе люди изъ народа переживутъ тѣ „чувства добрыя“, какія поэтъ желалъ пробуждать въ своихъ соотечественникахъ своимъ чуднымъ талантомъ.

И вотъ уже въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ мы слышимъ о безчисленныхъ разнообразныхъ замыслахъ русскихъ людей—почтить столѣтнюю годовщину рожденія Пушкина,—и всѣ эти замыслы являются данью именно *учителю* и *просвѣтителю*. Учреждаются народныя школы и библіотеки имени Пушкина, возникаютъ кружки и общества—съ цѣлью способствовать народному просвѣщенію публичными чтеніями, учреждаются стипендіи для учениковъ-бѣдняковъ, предпринимаются дешевыя и даже совсѣмъ даровыя изданія сочиненій

поэта—все для того же читателя изъ народа. И самъ читатель не остается равнодушнымъ и безучастнымъ къ этимъ замысламъ. Мы узнаемъ, что сельскія общества составляютъ приговоры объ открытіи пушкинскихъ школъ и читаленъ. Очевидно, на Руси уже существуютъ села и деревни, гдѣ не только читаютъ, но и, какъ слѣдуетъ, понимаютъ и цѣнятъ поэта. Объ этомъ не слыхали девятнадцать лѣтъ назадъ,—и, несомнѣнно, нашимъ ближайшимъ потомкамъ придется все чаще и чаще встрѣчаться съ новыми путниками на тропѣ къ нерукотворному памятнику Пушкина.

И великій долгъ лежитъ на совѣсти всѣхъ, кто можетъ помочь этимъ путникамъ, приблизить къ нимъ высоко-человѣчную личность поэта и безсмертную красоту его произведеній. Это—долгъ любви къ родинѣ и русскому народу. И на этомъ пути нѣтъ работниковъ ненужныхъ и лишнихъ, нѣтъ работы слишкомъ ничтожной и безполезной. Жизнь Пушкина или даже отдѣльные факты, разсказанные правдиво, какое-нибудь стихотвореніе, прочитанное искренно и растолкованное просто,—все это—цѣнные цвѣтки въ народные лавры поэта, и,—что́ еще важнѣе,—уплата великаго долга народу,—того самаго долга, какой всю жизнь признавалъ за собою Пушкинъ.

Онъ весьма многимъ обязанъ простому русскому человѣку и еще больше—творчеству русскаго народа, его сказкамъ и пѣснямъ. У него не было высшаго утѣшенія, чѣмъ слушать бы́ли и небылицы своей няни и перелагать ихъ въ свои дивные стихи. Русская старина, и старинные русскіе люди съ ихъ простымъ, но глубоко-жизненнымъ умомъ, съ ихъ часто грубыми, но своеобразными нравами занимали его умъ и возбуждали его вдохновеніе. И послѣдней поэтической мечтой Пушкина было—написать на закатѣ своихъ дней „романъ на старый ладъ“, разсказать „преданья русскаго семейства да нравы нашей старины“. И вотъ какія картины рисо-

вались предъ глазами поэта, когда онъ достигъ высшаго развитія своего таланта и сталъ во главѣ русской литературы:

«Люблю песчаный косогоръ,
«Передъ избушкой двѣ рябины,
«Калитку, сломанный заборъ...
«Теперь мила мнѣ балалайка...
«Мой идеалъ теперь — хозяйка,
«Да щей горшокъ, да самъ большой»...

Да, поэтъ любилъ народъ и на этой любви упрочилъ свою вѣчную славу. Это — краеугольный камень всѣхъ его существующихъ и будущихъ памятниковъ. И этотъ неразрывный союзъ сердца поэта съ народнымъ духомъ долженъ внушать всякому русскому человѣку посильную заботу о распространеніи пушкинской поэзіи до послѣдняго уголка родины. Народъ будетъ находить въ этой поэзіи все лучшее и благородное, что̀ заключено въ его природѣ, понимать свои нравственныя силы, спасшія въ немъ человѣческую душу среди вѣковыхъ испытаній рабства и обезпечивающія ему широкій путь свободнаго нравственнаго и гражданскаго развитія. Народъ въ Пушкинѣ познаетъ самого себя и оправдаетъ его предсказаніе, утѣшавшее его страдальческую душу въ невыносимо-горькія минуты личной жизни:—„Буду долго я любезенъ народу“. Только одно слово народъ измѣнитъ по-сво́ему: вмѣсто *домо*—поставитъ ***вѣчно***, потому что никогда не настанетъ на землѣ время, когда можно будетъ предать забвенію имя того, кто „пробуждалъ чувства добрыя, кто свободу славилъ, кто милость къ падшимъ призывалъ...“

Мы съ своей стороны намѣрены разсказать жизнь и дѣятельность Пушкина. Мы не можемъ передать нашимъ читателямъ всего, что̀ извѣстно до сихъ поръ о краткихъ, но бурныхъ годахъ поэта: иныя испытанія, пережитыя имъ, потребовали бы отъ насъ цѣлаго особаго сочиненія. Мы постараемся собрать существенныя черты изъ жизни Пушкина, показать необычайно быстрое, но глубокое и постепенное развитіе его генія; изобразимъ людей, вліявшихъ на его

личную и писательскую судьбу, нарисуемъ его необыкновенно одаренную и человѣчно-прекрасную личность... Задача не легкая: предметъ такъ великъ и такъ богатъ содержаніемъ!

Но именно величіе и глубокій смыслъ предмета помогутъ намъ достигнуть цѣли. Какое богатство рѣдкихъ нравственныхъ свойствъ и поразительныхъ дѣяній! Всякое сообщеніе, всякая черта—уже яркій лучъ на картину, и говорить о личности Пушкина—то же самое, что наслаждаться „живою прелестью его стиховъ“.

I.

Задушевнѣйшія слова, какими богата была русская душа Пушкина, достались на долю древней столицы Россіи. Въ теченіе всей жизни онъ не переставалъ вспоминать о „премилой старушкѣ“, тароватой всякими странностями и даже—дикостями, но неизмѣнно близкой и родной. Въ раннеи молодости поэту пришлось пережить славу и бѣдствія Отечественной войны, слышать разсказы о пожарѣ Москвы,—и онъ отозвался стихами, полными страстнаго патріотическаго чувства:

«Края Москвы, края родные,
«Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ
«Часы безпечности я тратилъ золотые,
«Не зная горести и бѣдъ;
«И вы ихъ видѣли, враговъ моей отчизны,
«И васъ багрила кровь и пламень пожиралъ!
«И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни...
«Вотще лишь гнѣвомъ духъ пылалъ!»

И позже никто не умѣлъ съ такой добродушной насмѣшкой, съ такой нѣжной любовью говорить о Москвѣ, будто о

человѣкѣ съ незабвенными чертами лица и неисчерпаемыми сокровищами души:

«Какъ часто въ горестной разлукѣ, «Въ моей блуждающей судьбѣ,
«Москва, я думалъ о тебѣ!»

Иногда рѣчь звучала еще сердечнѣе, и поэтъ обращался къ Москвѣ, какъ сынъ къ своей матери:

«Въ изгнаньи, въ горести, въ разлукѣ «Москва,—какъ жаждалъ я тебя,
«Святая родина моя!»

Долго не знали, въ какой московской мѣстности родился поэтъ. Самъ онъ указывалъ на Молчановку, гдѣ одно время жили его родители, въ приходѣ Николы на Курьихъ Ножкахъ;—но метрическое свидѣтельство выдано изъ Богоявленской церкви въ Елоховѣ, и Пушкинъ родился на углу Нѣмецкой улицы и Лефортовскаго переулка, въ домѣ Скворцова. Въ настоящее время дома того не существуетъ, и бывшее владѣніе Скворцова раздѣлено на участки и принадлежитъ тремъ владѣльцамъ. День рожденія—26 мая 1799 года.

Семья Пушкиныхъ по отцу принадлежала къ древнему боярскому роду. Предокъ ихъ—выходецъ изъ Пруссіи при Александрѣ Невскомъ, по имени Радши или Рачи. Имена его потомковъ безпрестанно встрѣчаются въ русской исторіи. Пушкины стояли въ первыхъ рядахъ знати уже при Иванѣ Грозномъ, принимали большое участіе въ смуту междуцарствія, четверо подписались подъ грамотой объ избраніи на царство Романовыхъ; при Петрѣ одинъ Пушкинъ былъ казненъ, какъ заговорщикъ. Вообще, Пушкины не отличались спокойнымъ и уживчивымъ нравомъ и въ тяжелыя времена не прятались отъ опасностей. Дѣдъ поэта пострадалъ за свою вѣрность Петру III противъ Екатерины, просидѣлъ два года въ крѣпости; выпущенный на свободу, онъ разыгралъ жестокую драму въ своей семьѣ, уморилъ изъ ревности жену въ домашней тюрьмѣ, а ея подозрѣваемаго героя—француза-учителя—повѣсилъ на черномъ дворѣ.

Сынъ его не наслѣдовалъ буйной натуры отца. Сергѣй Львовичъ,—отецъ поэта,—родился добрымъ, безхарактернымъ и безпечнымъ русскимъ бариномъ, воспитался на французскихъ веселыхъ книжкахъ, питалъ сильнѣйшее влеченіе къ французскимъ стихамъ и остротамъ, самъ любилъ сочинять цѣлыя поэмы, играть на сценѣ, разсказывать забавные анекдоты. Эти удовольствія поглощали всю его жизнь, и въ его домѣ пристрастіе къ сочинительству и стихотворству превратилось въ своего рода недугъ.

Всѣ старались стихоплетствовать, отъ мала до велика, отъ господъ до слугъ; и даже камердинеръ барина, Никита, состряпалъ балладу изъ сказокъ о Соловьѣ-разбойникѣ, богатырѣ Еруслапѣ Лазаревичѣ и царевнѣ Милитрисѣ Кирбитьевнѣ. Братъ Сергѣя Львовича, Василій, обладалъ литературнымъ талантомъ, но признавалъ исключительно легкую поэзію, сочинялъ пѣсни, посланія, эпиграммы, переводилъ французскія басни.

Эта литература вполнѣ соотвѣтствовала его любви къ блестящей свѣтской жизни, къ остроумнымъ разговорамъ, вообще къ безпечальному и бездѣльному барскому времяпровожденію. Главнѣйшая его заслуга—сердечныя и даже восторженныя отношенія къ геніальному племяннику. Александръ Сергѣевичъ также очень любилъ своего остроумнаго и добродушнаго дядю; они обмѣнивались стихотворными посланіями и взаимными любезностями.

Василій Львовичъ безпрестанно устраивалъ литературныя чтенія, ввелъ въ свой домъ и въ домъ брата знаменитѣйшихъ современныхъ писателей: Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Дмитріева. Въ то же время постоянными гостями Пушкиныхъ были французскіе аристократы, покинувшіе свое отечество во время великой революціи. Эти добровольные изгнанники не отличались большими достоинствами ума и сердца,—блестящая толпа остряковъ, напитанная вѣковыми

предразсудками и обожавшая веселую, праздную жизнь и роскошный столъ. Отецъ Пушкина имѣлъ необыкновенно талантливаго повара, и французскіе гости отдавали должную честь любезному нраву хозяина и его тонкому вкусу.

Сергѣй Львовичъ проживалъ свой вѣкъ, смѣясь и забавляясь. Онъ даже въ разговорахъ избѣгалъ серьезныхъ предметовъ, ненавидѣлъ всякіе вопросы, требовавшіе умственной работы, и уклонялся отъ всякихъ докучливыхъ хлопотъ по своимъ имѣніямъ. Во всемъ этомъ онъ встрѣчалъ полное сочувствіе у своей жены — Надежды Осиповны, урожденной Ганнибалъ.

Въ Москвѣ врядъ ли можно было найти болѣе беззаботную и легкомысленную чету супруговъ. Все время ихъ уходило на выѣзды и пріемы. Дѣла предоставлялись на усмотрѣніе прислуги и на волю Божію, и любимой поговоркой у Сергѣя Львовича было:—„да совершится воля Господня“. Произносилъ онъ ее, конечно, на французскомъ языкѣ и отдѣлывался ею отъ всевозможныхъ затрудненій. Деньги тратились безъ всякаго расчета, безумная расточительность смѣнялась скупостью, и Сергѣй Львовичъ подчасъ становился невыносимымъ скрягой, буквально считалъ копейки, не жалѣя огромныхъ тратъ на званые обѣды и домашнія представленія. Въ теченіе всей жизни Сергѣй Львовичъ даже не заглядывалъ въ нѣкоторыя свои деревни, кое-какъ дослужился до чина маіора и отдался вполнѣ праздности, ежедневной французской болтовнѣ и сочинительству французскихъ стиховъ и остротъ.

Надежда Осиповна отнюдь не была расположена взять на себя тяготу хозяйства и семейныхъ дѣлъ. Она также страстно любила свѣтъ и развлеченія. Всѣ ея хозяйственные таланты ограничивались крайне суровымъ обращеніемъ съ прислугой. Вообще, нѣжнымъ сердцемъ она не обладала. Съ самыми близкими людьми она могла разссориться изъ-за

пустяковъ на цѣлые мѣсяцы, даже съ сыномъ—не говорить цѣлый годъ. Мужемъ она повелѣвала, но толку отъ этого выходило мало. Домъ ихъ всегда представлялъ хаосъ. Въ одной комнатѣ—богатая старинная мебель, въ другой—пустыя стѣны или соломенный стулъ, многочисленная, но оборванная, пьяная и неопрятная дворня, ветхіе рыдваны съ тощими клячами и вѣчный недостатокъ въ самомъ необходимомъ: стóило невзначай остаться у Пушкиныхъ обѣдать двумъ-тремъ человѣкамъ,—приходилось у знакомыхъ доставать приборы и даже стаканы.

Легко представить, какъ воспитывались дѣти въ подобной семьѣ! Внѣшній, обязательный обрядъ выполнялся: нанимались многочисленные учителя и гувернантки изъ иностранцевъ. Вниманіе обращалось только на иностранное происхожденіе наставниковъ; ихъ знанія и нравственныя качества—все это считалось второстепеннымъ вопросомъ. Пушкины достали себѣ нѣсколькихъ французовъ и одного нѣмца. Одинъ французъ—музыкантъ и живописецъ, другой—стихотворецъ, необыкновенно гордый своимъ талантомъ. Оба они не имѣли ни малѣйшаго понятія о воспитаніи дѣтей, а стихотворецъ, кромѣ того, изъ зависти, не позволялъ Александру Сергѣевичу писать стихи и жаловался на него матери. Нѣмцу были поручены весьма странныя обязанности — занятія русскимъ языкомъ.

Но и эти учителя существовали недолго. Одна смѣна слѣдовала за другой Александръ Сергѣевичъ и его сестра, Ольга,—безпрестанно вынуждены были прерывать свою науку и собственной находчивостью удовлетворять свою любознательность. Ихъ соединяла тѣсная дружба; Ольга Сергѣевна навсегда осталась для брата „безцѣннымъ другомъ“, и онъ долго вспоминалъ о своихъ бесѣдахъ съ ней, о прочитанныхъ книгахъ, о радости свиданій съ ней. Сестра была его первымъ читателемъ и критикомъ, и онъ подчинялся ея суду.

Это было большое счастье среди столь безтолковой и холодной жизни родителей.

Но не одна сестра дѣлила лучшія дѣтскія минуты будущаго поэта. У него были еще два друга и учителя. Они любовно и неутомимо оберегали ребенка отъ капризовъ матери, отъ безсмысленныхъ преслѣдованій учителей, отъ гибельныхъ вліяній французскаго воспитанія. Они на первыхъ порахъ спасли въ немъ душу геніальнаго сына своей родины и мысль будущаго великаго писателя.

II.

Въ семьѣ Пушкина жила мать Надежды Осиповны,— Марья Алексѣевна Ганнибалъ. Она представляла собой живую, въ высшей степени драматическую исторію,—и ей было что поразсказать своему внуку. Впослѣдствіи онъ припомнитъ ея рѣчи, задумаетъ даже написать романъ и героемъ возьметъ родоначальника семьи Ганнибаловъ „арапа Петра Великаго“.

Поэтъ, вѣроятно, со словъ бабушки разсказывалъ, что этотъ арапъ потомокъ африканскаго князька, слѣдовательно, человѣкъ знатный, хотя и черный. Но достовѣрнѣе, что Ибрагимъ, попавшій къ Петру Великому изъ Турціи, былъ простой негритенокъ, проданный, какъ рабъ, на константинопольскомъ рынкѣ. Царь полюбилъ ребенка, крестилъ его и назвалъ Абрамомъ, потомъ отправилъ въ Парижъ для обученія инженерному искусству. По смерти Петра, Ганнибалъ пережилъ немало превратностей, побывалъ въ Сибири за сопротивленіе могущественному временщику Меншикову, при Елизаветѣ опять вышелъ въ чины, женился, бросилъ жену и при ея жизни вступилъ во второй бракъ, выдержалъ эпитимью и заплатилъ денежный штрафъ, наконецъ, скончался въ глубокой старости въ одной изъ своихъ деревень. Жизнь его, несомнѣнно, можно было превратить въ занимательный

романъ. Не отсталъ отъ этого героя сынъ его, Осипъ,—дѣдъ великаго поэта,—даже превзошелъ.

Послѣ бурной молодости и жестокихъ ссоръ съ отцомъ, Осипъ Абрамовичъ вздумалъ жениться. Выборъ его палъ на дочь тамбовскаго воеводы, Марью Алексѣевну Пушкину. Это была скромная провинціальная боярышня, хорошо воспитанная, простая, но сердечная и умная. Она сумѣла примирить своего мужа съ его отцомъ, но не нашла счастья въ супружествѣ. Не прошло и двухъ лѣтъ, какъ Ганнибалъ вновь поссорился съ отцомъ, возненавидѣлъ жену и бѣжалъ отъ своей семьи. Причина размолвки съ женой въ точности неизвѣстна. Началось судьбище, очень продолжительное и ожесточенное. Супруги безпощадно обвиняли другъ друга во всевозможныхъ преступленіяхъ. Осипъ Абрамовичъ, кромѣ того, вторично женился. Марья Алексѣевна подала жалобу на преступнаго мужа, заявила о своемъ бѣдственномъ положеніи съ малолѣтней дочерью, требовала отъ мужа средствъ на пропитаніе законной семьи.

Тяжба продолжалась цѣлые годы. Осипъ Абрамовичъ разлучился со второй женой, но онъ упорно боролся, измышлялъ одно обвиненіе за другимъ на свою несчастную первую жену. Та дѣятельно оправдывалась; искъ рѣшили въ ея пользу: изъ имѣнія отца выдѣлили часть на воспитаніе дочери; самъ Ганнибалъ, по повелѣнію императрицы Екатерины II, долженъ былъ отправиться служить во флотъ на Средиземное море,—наказаніе не особенно тяжелое: Ганнибалъ считался опытнымъ морякомъ.

Марья Алексѣевна могла успокоиться, но послѣ какихъ огорченій и обидъ! Она поселилась въ Петербургѣ и занялась воспитаніемъ дочери, составлявшей для нея единственное утѣшеніе. Дочь не столько воспитывали, сколько баловали. Она росла красавицей, своевольной, легкомысленной, и стала достойной супругой Сергѣя Львовича. Но Марья

Алексѣевна оставалась по-прежнему простой доброй барыней

Александръ Пушкинъ въ 12-лѣтнемъ возрастѣ.

съ русскими привычками, словоохотливой разсказчицей о своей многострадальной жизни.

Она единственная въ пушкинскомъ домѣ говорила по-русски, не молилась на французскіе обычаи, не твердила французскихъ стиховъ и при томъ горячо любила дѣтей. Она часто по цѣлымъ часамъ разговаривала съ ними, учила ихъ читать и писать по-русски, защищала ихъ, насколько могла, отъ прихотей ихъ матери и своеволія учителей.

Особенно много добра она сдѣлала будущему поэту.

Въ дѣтствѣ Александръ Сергѣевичъ не отличался общительностью и ловкостью. Толстый, молчаливый, неповоротливый,—онъ не любилъ играть и бѣгать. Надъ нимъ смѣялись всѣ изящные господа и дамы, начиная съ матери. Онъ не оставлялъ насмѣшки безъ отвѣта, но все-таки ему уютнѣе было сидѣть съ бабушкой и вести съ ней безконечныя бесѣды.

Однажды мать взяла его гулять. Ребенокъ не могъ идти быстро, усталъ и усѣлся отдыхать посреди улицы. На него обратили вниманіе жильцы сосѣдняго дома и стали смѣяться. Ребенокъ въ негодованіи поднялся и произнесъ:

— Ну, нечего скалить зубы!

Вообще, даже въ дѣтствѣ, Александръ Сергѣевичъ обнаруживалъ часто удивительную находчивость. Жертвой ея оказался однажды одинъ изъ знаменитѣйшихъ современныхъ ему писателей,—Дмитріевъ.

Ему вздумалось пошутить надъ кудрявыми волосами ребенка.—„Какой арабчикъ“,—сказалъ онъ, обращаясь къ Пушкину. У самого его лицо было обезображено оспой. Ребенокъ немедленно нашелся и отвѣтилъ въ риѳму:—„За то—не рябчикъ“.

Разсказываютъ другой случай дѣтской находчивости Александра Сергѣевича, еще болѣе любопытный. Въ домѣ Пушкина жила родственница, молодая помѣшанная дѣвушка. Ее думали вылѣчить испугомъ, и однажды, когда она сидѣла у окна, на нее внезапно направили рукавъ пожарной трубы и обдали водой. Она, дѣйствительно, испугалась и выбѣжала

изъ своей комнаты. Въ это время Пушкинъ возвращался съ прогулки; помѣшанная закричала ему:

— Братецъ, меня принимаютъ за пожаръ!

— Не за пожаръ, а за цвѣтокъ, — отвѣтилъ Пушкинъ: — вѣдь, и цвѣты въ саду поливаютъ изъ пожарной трубы.

Но въ парадныхъ комнатахъ мальчикъ чувствовалъ себя не по себѣ. Онъ держался молчаливо и крайне скромно, садился куда-нибудь въ уголокъ или прижимался къ стулу особенно для него интереснаго гостя. Онъ не вмѣшивался въ разговоръ взрослыхъ, но иногда впечатлительность его сказывалась невольно, и взрослые могли видѣть, что ихъ смѣшныя выходки не укрываются отъ наблюдательности ребенка.

Однажды произошелъ такой случай. Какой-то изъ многочисленныхъ стихотворцевъ, посѣщавшихъ домъ Пушкиныхъ, читалъ торжественно очень плохіе стихи собственнаго сочиненія и дошелъ, наконецъ, до особенно смѣшного мѣста. Вдругъ Александръ Сергѣевичъ громко захохоталъ; чтецъ и поклонники его таланта обидѣлись; мать приказала ребенку оставить гостиную, но одинъ изъ гостей подошелъ къ ребенку, пожалъ ему руку и сказалъ:

— Чудное дитя! Какъ онъ рано все началъ понимать! Дай Богъ, чтобы этотъ ребенокъ жилъ и жилъ; вы увидите, что̀ изъ него будетъ!

Но только немногіе среди гостей Пушкиныхъ могли такъ смѣло и здраво судить о геніальномъ ребенкѣ. Даже Василій Львовичъ не могъ и не хотѣлъ признавать въ племянникѣ личной, ни отъ кого независимой свободы и желалъ впослѣдствіи видѣть въ немъ поэта на свой полуфранцузскій ладъ. Громаднаго дарованія въ Александрѣ Сергѣевичѣ онъ не могъ отрицать, но его французскій вкусъ все-таки не могъ помириться съ простыми русскими чертами въ характерѣ и талантѣ молодого поэта.

У ребенка былъ свой міръ, свое царство поэзіи, совсѣмъ

не похожее на французское стихотворство отца и его друзей. Бабушка учила его русскому языку; рядомъ съ ней была другая учительница, еще болѣе усердная и свѣдующая,— ея крѣпостная крестьянка, Арина Родіоновна. Она именно и взлелѣяла дѣтство Александра Сергѣевича, оставила въ его сердцѣ самыя отрадныя впечатлѣнія и воспоминанія о раннихъ годахъ, и сама навсегда осталась для него едва ли не самымъ роднымъ человѣкомъ изъ всѣхъ, кто его окружалъ въ родномъ домѣ.

Арина Родіоновна обладала неисчерпаемымъ добродушіемъ, простымъ, преданнымъ сердцемъ и яснымъ, здравымъ смысломъ. Она въ совершенствѣ знала русскую народную жизнь, помнила множество сказокъ и повѣрій, умѣла кстати приправить разумную рѣчь пословицей и поговоркой и превосходно разсказать волшебную небылицу. Ребенокъ души не чаялъ въ ея разсказахъ, слушалъ ихъ съ одинаковымъ наслажденіемъ и въ дѣтствѣ, и позже, чуя своей поэтической душой истинно-русскій умъ и народную творческую силу въ этихъ повѣствованіяхъ. Онъ самъ превосходно изобразилъ свои незабвенныя бесѣды съ няней, въ семнадцать лѣтъ вспоминая о своемъ дѣтствѣ. Онъ любилъ эти воспоминанія именно потому, что предъ нимъ возставалъ дорогой, *милый* образъ старушки.

«Умолчу ли о мамушкѣ моей
«О прелести таинственныхъ ночей,
«Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ,
«Она, духовъ молитвой уклоня,
«Съ усердіемъ перекрестить меня —
«И шепотомъ разсказывать мнѣ станетъ
«О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы...
«Отъ ужаса не шелохнусь, бывало,
«Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло,
«Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
«Подъ образомъ простой ночникъ изъ глины

«Чуть освѣщалъ глубокія морщины...
«Я трепеталъ, и тихо, наконецъ,
«Томленье сна на очи упадало...
«Терялся я, въ порывѣ сладкихъ думъ,
«Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
«Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней,—
«И въ вымыслахъ носился юный умъ»...

Годы шли, поэтъ становился славнымъ, первой знаменитостью въ своемъ отечествѣ; тяжелыя испытанія падали на его голову, онъ часто чувствовалъ себя одинокимъ, безпріютнымъ,—и мысли его не переставали обращаться къ далекому прошлому. Среди явныхъ враговъ и лукавыхъ друзей онъ зналъ, что няня по-прежнему готова приласкать его, воскресить для него свѣтлыя радости дѣтства и сердечностью своихъ рѣчей заставитъ забыть о темномъ и холодномъ мірѣ чужихъ и злыхъ людей. Онъ велъ съ ней переписку: послѣ его смерти письма няни нашлись сохранными въ его бумагахъ; онъ берегъ ихъ, перечитывалъ, и они нерѣдко подсказывали ему стихи, исполненные красоты и глубокаго чувства.

Такъ, напримѣръ, няня писала ему:

„Любезный мой другъ Александръ Сергѣевичъ,—я получила письмо и деньги, которыя вы мнѣ прислали. За всѣ ваши милости я вамъ всѣмъ сердцемъ благодарна, — вы у меня безпрестанно въ сердцѣ и на умѣ, и только когда засну, забуду васъ. Пріѣзжай, мой ангелъ, къ намъ, въ Михайловское,—всѣхъ лошадей на дорогу выставлю. Я васъ буду ожидать и молить Бога, чтобы онъ далъ намъ свидѣться. Прощай, мой батюшка Александръ Сергѣевичъ. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебенъ отслужила. Поживи, дружочекъ, хорошенько, — самому слюбится. Я, слава Богу, здорова. Цѣлую ваши ручки и остаюсь васъ многолюбящая няня ваша Арина Родіоновна“.

Поэтъ отвѣчалъ на призывъ необыкновенно сердечными стихами, называлъ свою няню самыми нѣжными именами,

рисовалъ ея старческій образъ, будто любящій и тоскующій сынъ:

«Подруга дней моихъ суровыхъ,
«Голубка дряхлая моя!
«Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ
«Давно, давно ты ждешь меня.
«Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
«Горюешь, будто на часахъ,
«И медлятъ поминутно спицы
«Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
«Глядишь въ забытыя вороты
«На черный, отдаленный путь:
«Тоска, предчувствіе, заботы
«Тѣснятъ твою всечасно грудь»...

Друзья поэта, навѣщавшіе его въ деревнѣ, твердо запомнили „дряхлую голубку“ и, многіе годы спустя, не пропускали случая сказать о ней доброе, часто восторженное слово. Одинъ изъ нихъ,—поэтъ Языковъ,—разсказалъ намъ, какъ Арина Родіоновна принимала гостей своего питомца, спѣшила угостить ихъ „затѣйливымъ обѣдомъ“, занимала ихъ простодушной, но увлекательной бесѣдой, разсказывала о старой барской жизни, о барскихъ проказахъ, кого хвалила, надъ кѣмъ изрекала приговоръ, — и гости все слушали, не прерывая словоохотливой разсказчицы. Часы летѣли незамѣтно; первая опоминалась Арина Родіоновна и приглашала собесѣдниковъ кончать бесѣду, идти спать; но молодежь вновь наливала стаканы, приглашала и старушку пображничать, начинала хоровую пѣсню, — и няня радостно слушала не всегда понятныя ей слова и будто сама молодѣла.

Поэтъ не одинъ разъ принимался за эти воспоминанія и, услышавъ о смерти Арины Родіоновны, посвятилъ ей особое стихотвореніе; онъ говорилъ ей:

«Ты не умрешь въ воспоминаньяхъ
«О свѣтлой юности моей
«И въ поучительныхъ преданьяхъ
«Про жизнь поэтовъ нашихъ дней!»

Пушкинъ обезсмертилъ и имя своей няни, и свою дружбу съ ней. Этой дружбѣ мы обязаны одной изъ самыхъ трога-

тельныхъ сценъ, какія только существуютъ въ русской литературѣ. Въ романѣ «*Евгеній Онѣгинъ*» героиня поражена несчастливой любовью. Она совсѣмъ одинока, и тотъ, кого она любитъ, не пойметъ и не оцѣнитъ ея чувства. Она не знаетъ, чѣмъ и гдѣ заглушить свою тоску. Ей нѣтъ покоя и сна, и по ночамъ она тихо говоритъ нянѣ:

«Не спится, няня: здѣсь мнѣ душно!
«Открой окно, да сядь ко мнѣ».

И она проситъ няню разсказать ей о старинѣ,—о томъ, какъ она сама любила и выходила замужъ, была ли счастлива или такъ же горевала—одинокая и нелюбимая. И няня начинаетъ свою рѣчь,—свою правдивую повѣсть о суровой долѣ крестьянской дѣвушки. Татьяна прерываетъ разсказъ, она мечется отъ душевной боли, она готова плакать и рыдать; няня креститъ ее дряхлой рукой и молится надъ ней...

И Татьяна не забудетъ этихъ молитвъ и утѣшеній. Она превратится въ блестящую свѣтскую даму, въ ея распоряженіи будутъ всѣ удовольствія столицы и веселаго любезнаго общества; но ей безпрестанно припоминается далекая деревенская глушь, невозвратная дѣвичья жизнь, и она, кажется ей, готова весь блескъ и шумъ отдать

«За смиренное кладбище,
«Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
«Надъ бѣдной нянею моей».

И самъ поэтъ говорилъ устами своей героини. На верху славы онъ посѣщалъ деревенскій домъ, гдѣ когда-то слушалъ разсказы няни, и былое оживало предъ нимъ; онъ смотрѣлъ на обветшавшее свое жилище и говорилъ:

«Вотъ домикъ,
«Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей.
«Уже старушки нѣтъ; ужъ за стѣною
«Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,

«Ни утреннихъ ея дозоровъ...
«А вечеромъ, при завываньи бури,
«Ея разсказовъ, мною затверженныхъ
«Отъ малыхъ лѣтъ, но никогда не скучныхъ»...

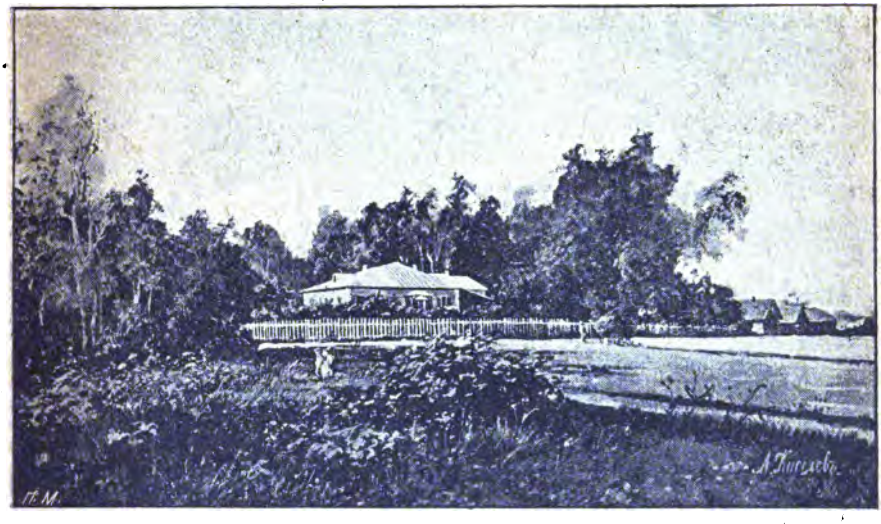
Пушкинъ усердно записывалъ эти разсказы, создавалъ изъ нихъ свои чудныя сказки, часто только перелагая въ стихи рѣчь старушки. Няня служила посредницей между русскимъ народомъ и его великимъ поэтомъ. Безъ нея онъ не скоро узналъ бы, какая богатая духовная жизнь таится подъ грубой и забитой внѣшностью крестьянина, какъ широко и роскошно развито его воображеніе, сколько правды и вѣками пережитой житейской мудрости вложено въ его небылицы, поговорки и пѣсни. Весь этотъ міръ Арина Родіоновна начала открывать ребенку съ первой минуты его сознанія, спасая въ немъ народный геній и русскую натуру.

III.

Нянѣ много помогали обстоятельства. Марья Алексѣевна купила сельцо Захарово. Оно отстоитъ въ 40 верстъ отъ Москвы, по Смоленской дорогѣ, въ двухъ верстахъ отъ него—большое село, Вяземы. Александру Сергѣевичу шелъ восьмой годъ, когда бабушка его стала владѣлицей Захарова, и съ этихъ поръ семья стала ѣздить сюда на лѣто. Ребенокъ скоро облюбовалъ небольшую березовую рощу съ громадной старой липой: здѣсь онъ любилъ сидѣть и играть, исписывалъ березы стихами и выражалъ даже желаніе быть здѣсь похороненнымъ. Изъ рощи открывался красивый видъ на прудъ, окаймленный еловымъ лѣсомъ.

Ребенокъ часто бывалъ въ Вяземахъ. Здѣсь его встрѣчали вѣковая русская старина и имя одного изъ любопытнѣйшихъ русскихъ царей. Церковь въ Вяземахъ выстроена при Борисѣ Годуновѣ, село принадлежало самому царю, по преда-

нію, и пруды были вырыты, по его приказу. Черезъ Вяземы проходили польскія шайки во времена самозванцевъ, и на стѣнахъ внутри церкви сохранялись польскія и латинскія надписи. Въ 1812 году въ Вяземахъ стоялъ корпусъ французской арміи.



Сельцо Захарово, гдѣ А. С. Пушкинъ провелъ дѣтскіе годы.

Все это, несомнѣнно, было разсказано ребенку, особенно о Годуновѣ, и его дѣтское воображеніе не могло остаться равнодушнымъ къ загадочной личности несчастнаго царя и кровавой судьбѣ его семьи. Впослѣдствіи Пушкинъ напишетъ драму о Борисѣ Годуновѣ; можетъ быть, она будетъ отчасти отголоскомъ дѣтскихъ впечатлѣній, столь живыхъ и глубокихъ у нашего поэта.

Въ Вяземахъ шумно справлялись праздники, водились хороводы, пѣлись пѣсни. Няня бывала съ Александромъ Сергѣевичемъ на этихъ народныхъ весельяхъ, и къ ея сказкамъ

прибавлялись еще пѣсни и игры,—вся живая поэзія, какая только имѣется въ крестьянскомъ быту. Пушкинъ не забывалъ Захарова и въ зрѣлые годы. Здѣсь жила дочь Арины Родіоновны. Александръ Сергѣевичъ навѣстилъ ее передъ своей женитьбой. Няни уже не было въ живыхъ,—и поэтъ захотѣлъ повидать ея дочь. Много лѣтъ спустя, въ глубокой старости, она вспоминала объ этомъ посѣщеніи, какъ о далекомъ свѣтломъ праздникѣ, не могла нахвалиться добротой молодого барина. Поэтъ обошелъ садъ, посѣтовалъ на запущеніе и разрушеніе и обѣщалъ снова побывать въ Захаровѣ. Его тянуло къ роднымъ мѣстамъ—туда, гдѣ проснулся его геній, гдѣ народная русская жизнь и поэзія вызвали первый трепетъ его поэтической души.

Дочь няни особенно ясно помнила, какимъ тихимъ и ласковымъ ребенкомъ былъ Александръ Сергѣевичъ; онъ мало игралъ, „все съ книжками, бывало“,—разсказывала старушка, и память ей не измѣняла.

Александръ Сергѣевичъ, дѣйствительно, пристрастился къ книгамъ, лишь только выучился читать. Никто имъ не руководилъ въ этой страсти, родители предоставили ему полную свободу читать все, что угодно и сколько угодно. Библіотека отца была наполнена французскими книгами, отнюдь не дѣтскими. Ребенокъ жадно набросился на поэтовъ и даже философовъ, цѣлыя ночи сталъ проводить за чтеніемъ, помнилъ прочитанное и къ одиннадцати годамъ приводилъ въ изумленіе даже дядю, Сергѣя Львовича, своими обширными познаніями во французской литературѣ. Иногда и отецъ читалъ вмѣстѣ съ дѣтьми любимыя произведенія, особенно—комедіи великаго французскаго поэта Мольера. Въ комедіяхъ осмѣивались глубочайшіе общественные пороки, въ родѣ дворянскаго чванства, свѣтской лести и раболѣпія, притворной набожности. Дѣти все это должны понимать и, дѣйствительно, понимали. Александръ Сергѣевичъ рѣшился самъ

писать, сначала, конечно, на французскомъ языкѣ. Сначала явилась комедія: сестра подвергла ее суровой критикѣ; юный авторъ не обидѣлся и самъ на себя написалъ эпиграмму. Дальше слѣдовали басни, наконецъ,—цѣлая поэма, изображавшая битву карликовъ съ карлицами.

На этотъ разъ на поэта ополчилась гувернантка, обиженная равнодушіемъ своего воспитанника къ урокамъ. Она пожаловалась учителю-французу; тотъ безпощадно высмѣялъ поэму; десятилѣтній авторъ жестоко обидѣлся, расплакался и бросилъ свое произведеніе въ огонь.

Но и послѣ этого приключенія прилежаніе Александра Сергѣевича не усилилось. Онъ по-прежнему полагался на свою счастливую память, бойко отвѣчалъ уроки лишь послѣ того, какъ ему удавалось сначала прослушать отвѣты сестры; спрошенный первымъ, попадался въ незнаніи; особенно много горя причиняла ему ариѳметика: надъ дѣленіемъ онъ прямо заливался слезами. Учителя, очевидно, не могли пріохотить къ учебнымъ занятіямъ даровитаго ребенка. Ему предстояло самому заботиться о своемъ развитіи и справляться съ многочисленными книгами, предоставленными въ его распоряженіе.

Никто не обращалъ серьезнаго вниманія и на его пробуждавшійся талантъ. Родителей и ихъ гостей, конечно, забавляла способность ребенка,—въ такой ранній возрастъ сочинять стихи. Въ то время всякая барышня считала долгомъ имѣть альбомъ и наполнять его стихами своихъ знакомыхъ или особенно любимыхъ поэтовъ, а подчасъ—и своими собственными. Пушкину уже въ дѣтствѣ приходилось исполнять просьбы барышень, и барышни часто заставляли его смущаться и спасаться бѣгствомъ отъ ихъ требованій.

Единственной повѣренной молодого творчества оставалась сестра поэта. Она страстно любила поэзію, исписывала свои альбомы стихами, сама сочиняла и даже воспѣвала талантъ своего брата.

Бесѣды съ сестрой о прочитанныхъ книгахъ, о сочиненныхъ стихахъ были несравненно занимательнѣе и даже полезнѣе для будущаго поэта, чѣмъ литературные вечера родителей, и сестра-ребенокъ лучше взрослыхъ могла раздѣлить литературныя радости своего брата. Дѣти жили собственной жизнью, и эта жизнь очень мала занимала ихъ родителей. Александръ Сергѣевичъ не зналъ материнской ласки, не слышалъ отцовскихъ задушевныхъ совѣтовъ и наставленій, не чувствовалъ надъ собой родной руководящей руки.

Домъ родителей для него былъ пустъ и холоденъ, и чѣмъ больше росъ поэтъ, чѣмъ осмысленнѣе становился его взглядъ на окружающій міръ, тѣмъ досаднѣе и мучительнѣе становилось ему въ гостиныхъ и залахъ, и тѣмъ сильнѣе онъ хотѣлъ вырваться на свободу.

Ему не о комъ и не о чемъ жалѣть. Остается одна няня, и онъ увезетъ о ней крѣпкую память, всѣ остальные—чужіе ему по душѣ и мыслямъ, и не только ему: его сестра и младшій братъ такъ же не дорожатъ родительскимъ домомъ: сестра выйдетъ замужъ тайкомъ безъ согласія отца и матери, братъ Левъ Сергѣевичъ поступитъ въ военную службу также тайно отъ родителей и убѣжитъ изъ дому. Александра Сергѣевича отправятъ добровольно, но безъ всякихъ сожалѣній, и онъ отвѣтитъ такимъ же равнодушіемъ, даже радостью.

И эти чувства не останутся тайной для другихъ. Скоро всѣмъ станетъ извѣстно, какъ неуютно и тяжко жилось поэту подъ роднымъ кровомъ. Впослѣдствіи одинъ изъ начальниковъ Пушкина по службѣ, человѣкъ благородный и добрый, будетъ рекомендовать его другому властному лицу и въ своей рекомендаціи на первомъ планѣ напомнитъ о тяжелыхъ дѣтскихъ годахъ поэта. Эта рѣчь сановника въ высшей степени любопытна. Она показываетъ, какъ лучшіе

люди относились къ молодымъ заблужденіямъ и увлеченіямъ Пушкина. Они не забывали, въ какихъ тяжелыхъ условіяхъ прошло его дѣтство,—безъ всякаго нравственнаго руководительства и умственнаго воспитанія. Онъ вырвался на свободу почти ребенкомъ. Въ его жилахъ текла горячая африканская кровь; было бы чудомъ, если бы послѣ этого молодость прошла спокойно и ровно, безъ всякихъ искушеній и ошибокъ.

Все это отлично понималъ благодушный начальникъ и въ своемъ письмѣ говорилъ:

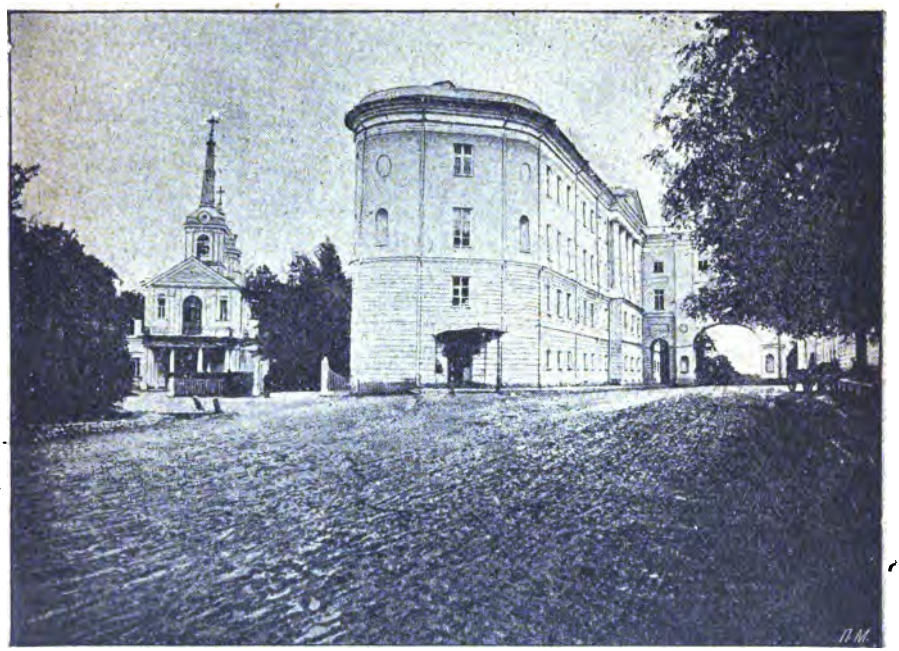
„Исполненный горестей въ продолженіе всего своего дѣтства, молодой Пушкинъ оставилъ родительскій домъ, не испытывая сожалѣнія. Лишенный сыновней привязанности, онъ могъ имѣть лишь одно чувство, — страстное желаніе независимости... Его умъ вызывалъ удивленіе, но характеръ его, кажется, ускользнулъ отъ взора наставниковъ“.

Совершенно правильное сужденіе и, къ несчастью, оно касалось и домашнихъ и школьныхъ наставниковъ.

IV.

Когда двѣнадцатилѣтній поэтъ покидалъ родительскій домъ, готовился поступить въ казенную школу, казалось, ему предстоялъ самый блестящій и широкій путь науки и просвѣщенія: школа-лицей, только что учрежденный и уже осыпанный милостями царя. Лицею предстояло воспитывать молодыхъ людей для *важной* государственной службы, наука должна была соотвѣтствовать этому высокому назначенію воспитанниковъ, и сами воспитанники принимались подъ высокое покровительство государя и, не въ примѣръ всей прочей учащейся русской молодежи, освобождались отъ тѣлесныхъ наказаній. Государь подарилъ лицею собственную библіотеку и самое заведеніе помѣстилъ, можно сказать, въ собственномъ домѣ, въ царскосельскомъ дворцѣ.

Громадный паркъ окружалъ лицей. Повсюду были воздвигнуты памятники знаменитымъ русскимъ полководцамъ и государственнымъ людямъ, между прочимъ, — одному изъ предковъ Пушкина, екатерининскому герою, Ивану Абрамовичу Ганнибалу. Вообще, военный блескъ екатерининскаго времени царилъ надъ дворцами и садами Царскаго Села,



Царскосельскій лицей.

они были переполнены „славой мраморной и мѣдными хвалами“, и по этимъ монументамъ воспитанники могли подробно повторить всю исторію славной старины. Государь часто являлся въ паркъ, охотно встрѣчался съ воспитанниками, до конца сохранялъ къ нимъ въ высшей степени благосклонное и заботливое отношеніе.

Воспитанники могли оцѣнить свое исключительное положеніе въ самый день открытія лицея.

Торжество произошло 19 октября 1811 г. Этотъ день остался незабвеннымъ для лицеистовъ, и лицейская годовщина не переставала вдохновлять Пушкина до самой смерти. Александръ I явился на открытіе, въ сопровожденіи своей семьи, министровъ, членовъ государственнаго совѣта и высшихъ придворныхъ чиновъ.

Послѣ литургіи открылось засѣданіе, и начались профессорскія рѣчи.

Особенно сильное впечатлѣніе произвело краснорѣчіе Куницына. Онъ не читалъ свою рѣчь, а говорилъ: чистый, звучный и внятный голосъ оживилъ слушателей. Ораторъ былъ еще очень молодъ, только что вернулся изъ-за границы, гдѣ готовился къ преподаванію своего предмета; его, повидимому, вдохновляло искреннее, юношеское увлеченіе наукой и широкой будущей дѣятельностью его слушателей.

Профессоръ внушалъ имъ, что предъ ними откроется за стѣнами лицея трудный путь служенія государству. Познанія ихъ должны быть обширны, такъ какъ государственный человѣкъ вліяетъ на благо цѣлаго общества, и онъ обязанъ знать все, что соприкасается съ его многочисленными и сложными обязанностями; на него обращены взоры всѣхъ его согражданъ, своимъ личнымъ примѣромъ онъ можетъ исправлять нравы народа успѣшнѣе, чѣмъ властью. Профессоръ призывалъ молодыхъ слушателей къ высшимъ цѣлямъ и закончилъ свою рѣчь горячимъ пожеланіемъ:—„любовь къ славѣ и отечеству должна быть вашимъ руководителемъ“.

Государь немедленно наградилъ оратора орденомъ, и лицеисты преисполнились самыми смѣлыми надеждами на талантъ и ученость Куницына. Всѣмъ имъ было отъ 10 до 12 лѣтъ, и къ нимъ обращались съ такой лестной рѣчью, ждали отъ нихъ такого блестящаго будущаго! Пройдетъ

шесть лѣтъ, и каждый изъ нихъ будетъ „столпомъ отечества“,—такъ говорилъ Куницынъ.—Царь непремѣнно наградитъ ихъ достойными должностями, имъостается только учиться и развиваться.

И золотыя мечты волновали молодыя головы. Съ самаго начала судьба выдѣлила лицеистовъ изъ круга остальныхъ русскихъ дѣтей и юношей, снабдила ихъ всякими удобствами жизни, дала имъ легчайшіе способы усвоивать самыя разнообразныя науки. Преподаватели намѣрены были вести ихъ къ цѣли, любовно и бережно, желали удалить изъ своихъ уроковъ все высокопарное и утомительное, возбуждать въ ученикахъ свободную дѣятельность ума и жажду знанія. Каждый воспитанникъ имѣлъ отдѣльную комнату, за его здоровьемъ тщательно слѣдило начальство; число лицеистовъ было ограничено и строго выбрано послѣ экзаменовъ.

Все, повидимому, обѣщало нашему поэту счастливые и плодотворные годы ученія и высокихъ умственныхъ наслажденій.

Дѣйствительность не оправдала ожиданій. Преподаватели были исполнены прекрасныхъ намѣреній, но осуществить ихъ оказалось невозможнымъ, при самой доброй волѣ. Мы знаемъ, какъ учили Пушкина дома, — подобную же школу прошли и его товарищи. И врядъ ли у кого изъ нихъ былъ порядочный учитель русской грамоты, такихъ учителей немного отыскивалось и въ Петербургѣ,—и даже въ лицеѣ пришлось взять нѣкоторыхъ преподавателей, не владѣвшихъ хорошо русскимъ языкомъ. Напримѣръ, исторія нѣмецкой литературы преподавалась нѣмцемъ на французскомъ языкѣ: порусски профессоръ говорилъ очень смѣшно, и воспитанники открыто надъ нимъ смѣялись. Французскую литературу преподавалъ французъ, родной братъ знаменитаго террориста Марата. Въ Россіи дали ему фамилію де-Будри, но онъ часто напоминалъ своимъ слушателямъ о своемъ родствѣ—и

выражалъ на урокахъ сочувствіе Марату. Онъ врядъ ли могъ внушить ученикамъ особенное уваженіе. Одинъ изъ нихъ рисуетъ его такъ: „забавный, коротенькій старичекъ, съ толстымъ брюшкомъ, съ насаленнымъ, слегка напудреннымъ парикомъ, кажется, никогда не мывшійся и развѣ однажды въ мѣсяцъ перемѣнявшій бѣлье“. Де-Будри зналъ свой предметъ, но онъ не могъ достигнуть, чтобы воспитанники въ опредѣленные дни говорили по-французски. То же самое происходило съ нѣмецкимъ и англійскимъ языками.

Еще печальнѣе участь другихъ и самыхъ лучшихъ профессоровъ. Прежде всего, Куницынъ горько разочаровалъ своихъ слушателей. Онъ именовался профессоромъ нравственныхъ наукъ и долженъ былъ преподавать огромное количество предметовъ—философскихъ, юридическихъ, политическихъ. И вначалѣ онъ увлекся своей задачей, но съ каждымъ годомъ все болѣе остывалъ, личное увлеченіе проходило, онъ сталъ просто давать ученикамъ списывать свои записки и вызубривать ихъ слово въ слово: при отвѣтахъ не дозволялось мѣнять ни одной буквы, о свободной умственной дѣятельности слушателей и о свободномъ изложеніи вопросовъ—не могло быть и рѣчи. Но это еще было не все.

Куницынъ обманулъ надежды своихъ воспитанниковъ въ другомъ, болѣе важномъ отношеніи. Онъ говорилъ имъ такія хорошія слова при открытіи лицея, на первыхъ порахъ велъ благородныя бесѣды, написалъ даже ученую книгу съ очень возвышенными мыслями, — а на практикѣ явился первымъ нарушителемъ своихъ рѣчей и мыслей. Онъ оказался изъ числа людей, у которыхъ слово постоянно расходится съ дѣломъ; для публики эти люди необыкновенно благородны, ратуютъ за все прекрасное и разумное, а въ личной жизни—себялюбцы и малодушные поклонники всякой силы и власти. Куницынъ краснорѣчиво говорилъ противъ крѣпостного рабства, а самъ своихъ крѣпостныхъ наказывалъ и презиралъ,

какъ настоящій рабовладѣлецъ. И какъ лживо въ его устахъ звучали слова о личномъ нравственномъ примѣрѣ, объ исправленіи народныхъ нравовъ!

Несравненно честнѣе и правдивѣе Куницына былъ профессоръ Галичъ. Онъ преподавалъ философію, писалъ прекрасныя книги, обладалъ благороднымъ, любящимъ сердцемъ, относился къ воспитанникамъ, какъ старшій теварищъ и другъ. Пушкинъ неоднократно вспоминалъ о немъ по выходѣ изъ лицея, называлъ его „мой добрый Галичъ“, „другъ мудрости прямой, правдивъ и благороденъ“. И Галичъ — вполнѣ достоинъ этихъ воспоминаній,—но поэтъ не забывалъ прибавить и еще одно имя—„вѣрный другъ бокала“.

И Галичъ, дѣйствительно, слишкомъ усердно дружился съ бокаломъ. На урокахъ онъ занимался разговорами, читалъ съ учениками театральныя пьесы, выслушивалъ ихъ стихи и, только когда начальство ожидалось въ классъ,—онъ обращался къ уроку. Внѣ классовъ онъ устраивалъ пирушки вмѣстѣ съ лицеистами. Его всѣ очень любили; но считали гораздо больше чудакомъ и веселымъ собесѣдникомъ, чѣмъ профессоромъ и наставникомъ.

Наконецъ, самый важный и любопытный для поэта предметъ—русскую словесность — преподавалъ профессоръ Кошанскій. Его уроки походили на бесѣды, живыя, непринужденныя. Ученики сначало сильно увлеклись ими, но весьма скоро обнаружилось, что профессоръ вовсе не сочувствовалъ ни жизни, ни самодѣятельности молодыхъ поэтическихъ талантовъ. Онъ держался старинной поэзіи — высокопарной, напыщенной и неестественной. Поэтъ представлялся ему совсѣмъ особеннымъ существомъ: онъ не долженъ говорить языкомъ обыкновенныхъ людей, не можетъ описывать предметы просто и понятно, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, все онъ обязанъ украсить своимъ краснорѣчіемъ, представить возвышенно и цвѣтисто и выразить не чисто-русскими сло-

вами, а, по возможности,—церковно-славянскими: вмѣсто *говорить*—поставить *вѣщать*, вмѣсто *площади—стогны*, вмѣсто *выкопать колодцы—изрыть кладези*. Такія поправки дѣлалъ Кошанскій въ стихотвореніяхъ своихъ учениковъ и усиливался отучить ихъ отъ естественной разговорной рѣчи.

Пушкинъ больше другихъ долженъ былъ потерпѣть отъ старомодныхъ вкусовъ Кошанскаго. Профессоръ не могъ допустить независимаго развитія таланта, не могъ помириться съ чарующей простотой пушкинскихъ стиховъ и началъ даже преслѣдовать геніальнаго ученика, чувствуя зависть къ его великимъ силамъ. Александръ Сергѣевичъ никогда особенно не увлекался уроками Кошанскаго, вскорѣ совсѣмъ забросилъ ихъ, призналъ ихъ совершенно для себя ненужными. Ничему полезному научиться у Кошанскаго не пришлось,—и Пушкинъ въ самомъ увлекательномъ предметѣ былъ предоставленъ самому себѣ.

И не только здѣсь, а рѣшительно во всемъ. Правда, Пушкинъ вспоминалъ съ большимъ сочувствіемъ о нѣкоторыхъ наставникахъ,—о Галичѣ и Куницынѣ. Но эта память доказывала только необыкновенно любящее и признательное сердце поэта, а вовсе не свидѣтельствовала о большихъ заслугахъ прославленныхъ профессоровъ. Александръ Сергѣевичъ готовъ былъ сторицей отплатить за каждую крупицу доброты, какую онъ видѣлъ отъ другихъ. А потомъ,—вообще память о лицеѣ осталась у него на всю жизнь, какъ память молодости, необъятныхъ надеждъ, страстной вѣры въ будущее. Все это Пушкинъ нашелъ, съ кѣмъ раздѣлить, — только не съ своими наставниками. Даже самый дѣльный изъ нихъ, человѣкъ безусловно благородный, не понялъ на первыхъ порахъ даровитаго юноши и произнесъ надъ нимъ жестокій приговоръ, навсегда оттолкнувшій Пушкина отъ добраго, но слишкомъ непроницательнаго воспитателя.

Этотъ воспитатель — директоръ лицея, Егоръ Антоновичъ

Энгельгардтъ: именно онъ могъ бы оказать глубокое вліяніе на чуткую душу будущаго поэта и именно онъ навсегда отрѣзалъ себѣ пути къ его сердцу.

V.

Одно изъ достоинствъ и несчастій великихъ людей—своеобразность ихъ личности. Ихъ нельзя измѣрять мѣркой, пригодной для всѣхъ другихъ, обыкновенныхъ, людей, и требовать отъ нихъ такой же сдержанности въ словахъ и поступкахъ, осмотрительности, смиренія и благоразумія. Талантъ—и особенно художественный — почти всегда соединяется съ натурой горячей, увлекающейся, часто прихотливой и въ мелкихъ житейскихъ дѣлахъ мало разсудительной. Что для простого человѣка проходитъ незамѣтно, что совсѣмъ не волнуетъ его сердца и не безпокоитъ его ума, — это самое можетъ вызвать сильное и глубокое впечатлѣніе у поэта. Его надо внимательно изучить, присмотрѣться къ особенностямъ его характера и крайне осторожно произносить окончательное сужденіе.

И именно Пушкинъ представлялъ въ высшей степени трудную загадку даже для самаго добросовѣстнаго наблюдателя. Родился онъ съ искреннимъ и отзывчивымъ сердцемъ, съ громадными способностями и жаждой знанія и умственнаго труда,—и всему этому онъ не нашелъ удовлетворенія въ родной семьѣ. Никто изъ взрослыхъ, кромѣ няни и бабушки, не оцѣнилъ его сердца, никто не придавалъ ни малѣйшаго значенія природнымъ наклонностямъ ребенка къ чтенію, никто не пожелалъ узнать, о чемъ онъ часто думалъ одинъ, и что можетъ выйти изъ его ранняго стремленія — сочинять стихи. А если кто и обращалъ вниманіе на его умъ и талантъ, то съ единственной цѣлью—позабавиться его находчивостью, посмѣяться его дѣтскимъ писательскимъ опытамъ и даже просто поднять на смѣхъ его стихи и замыслы.

Естественно, ребенокъ привыкъ не довѣрять окружающимъ людямъ, про себя таить свои думы и первыя внушенія своего таланта. Онъ боялся показаться слишкомъ серьезнымъ, слишкомъ непохожимъ на толпу вѣчно забавляющихся и легкомысленныхъ людей. Въ двѣнадцать лѣтъ онъ успѣлъ многое передумать и узнать; незамѣтно, но внимательно онъ прислушивался къ разговорамъ взрослыхъ и въ то же время поглощалъ одну книгу за другой,—какая сложная и неутомимая работа происходила въ его умѣ! И ему не съ кѣмъ было поговорить—просто и откровенно, не у кого было спросить отвѣта на трудный вопросъ, узнать правильный взглядъ на тотъ или другой предметъ. Александръ Сергѣевичъ явился въ лицей гораздо старше своего возраста: его товарищи, дѣйствительно, были дѣти, школьныя проказы доставляли имъ истинное наслажденіе, забавные и смѣшные учителя занимали ихъ больше, чѣмъ серьезные и дѣльные. Пушкинъ также принималъ дѣятельное участіе въ школьныхъ шалостяхъ,—но у него было многое, совершенно недоступное большинству товарищей, своя личная духовная жизнь. Онъ не думалъ гордиться своими преимуществами, не важничалъ предъ сверстниками своимъ развитіемъ и талантомъ, но онъ также и не могъ чувствовать себя съ ними во всемъ и всегда своимъ человѣкомъ! На него находили минуты раздумья, ему хотѣлось уединенія, надъ нимъ начиналъ властвовать его вдохновенный геній, — тогда ему становилось тяжело и неловко въ толпѣ школьниковъ, и онъ всѣми силами старался скрыть отъ нихъ свои настроенія и думы, для нихъ непонятныя и даже смѣшныя. Тогда онъ старался превзойти другихъ въ дерзкихъ и замысловатыхъ шалостяхъ, усиливался доказать, что онъ—мастеръ только прыгать черезъ стулья, сочинять легкомысленные стихи, издѣваться надъ жалкими и смѣшными людьми. Случалось, онъ внезапно обрывалъ свое чтеніе, стремительно принимался бѣгать, ду-

рачиться и приходилъ въ страстное негодованіе, если кто-либо одерживалъ надъ нимъ верхъ въ бѣгѣ или въ игрѣ въ кегли.

Эти переходы могли казаться странными, характеръ ребенка—болѣзненнымъ и крайне неровнымъ, негодованіе изъ-за пустяковъ легко было принять за врожденную злость и нетерпимость. Смѣна застѣнчивости и молчаливости необыкновенной смѣлостью особенно бросалась въ глаза наставникамъ, и они не знали, какъ понять ее? Не могли долго оцѣнить страннаго ребенка и его товарищи: онъ казался имъ капризнымъ, самолюбивымъ и даже злымъ. Прибавилась и доля зависти: Пушкинъ всѣхъ превосходилъ знаніемъ французскаго языка и литературы, — и его прозвали *французомъ*. Прошли годы,—раньше чѣмъ лучшіе и умнѣйшіе лицеисты оцѣнили своего геніальнаго товарища. И ихъ нельзя обвинять. Одинъ изъ самыхъ близкихъ къ Пушкину, — Иванъ Ивановичъ Пущинъ,—въ своихъ воспоминаніяхъ о лицейской жизни, сознается, что къ Александру Сергѣевичу съ самаго начала надо было подойти съ полнымъ благорасположеніемъ, любовно взглянуть на всѣ странности его, помириться съ ними,—и тогда только становилась понятной геніальная и благородная натура поэта.

Многіе ли были на это способны? И первый погрѣшилъ—директоръ лицея Энгельгардтъ.

Онъ поступилъ въ лицей, пять лѣтъ спустя послѣ его открытія, когда лицеисты уже готовились къ выпуску, и Пушкинъ считался между ними великой надеждой Россіи. Энгельгардтъ быстро привлекъ къ себѣ сердца воспитанниковъ. Онъ не отдѣлялъ ихъ отъ своей семьи, часто собиралъ ихъ у себя, предоставлялъ имъ полную свободу, какъ и всѣмъ прочимъ гостямъ, въ ихъ распоряженіи находились книги, музыкальные инструменты, краски, рисунки. Каждый забавлялся, чѣмъ ему угодно, и пріучался быть членомъ дѣй-

ствительно хорошаго и просвѣщеннаго общества. Часто директоръ, вмѣстѣ съ воспитанниками, предпринималъ прогулки по окрестностямъ Царскаго Села, иногда дня на два на три, занимался съ ними огородничествомъ и садоводствомъ. Императоръ Александръ однажды засталъ Энгельгардта въ обществѣ семьи и воспитанниковъ и выразилъ полное удовольствіе:

— Вижу и радуюсь,—сказалъ онъ,—что директоръ и воспитанники составляютъ одну нераздѣльную семью.

И государь никогда не переставалъ въ высшей степени благосклонно относиться къ Энгельгардту. Директору много разъ приходилось заступаться за своихъ воспитанниковъ, попадавшихся въ разныхъ продѣлкахъ, — и заступничество всегда имѣло успѣхъ. Энгельгардтъ оберегалъ и весь лицей вообще отъ замысловъ, вредныхъ для учрежденія.

Императоръ, напримѣръ, задумалъ ввести въ программу военныя науки, обучать лицеистовъ фронту. Энгельгардтъ горячо воспротивился и рѣшительно просилъ отставки, если въ лицеѣ будетъ введено ружье. Государь долго спорилъ, но, наконецъ, рѣшилъ, что Энгельгардта не переспорить, и согласился учредить особый военный классъ для желающихъ поступить въ военную службу.

Столь же смѣло возсталъ Энгельгардтъ и противъ другого предложенія государя—посылать лицеистовъ дежурить при императрицѣ. Государь полагалъ, что эти дежурства пріучатъ воспитанниковъ быть развязнѣе въ обращеніи. Директоръ, напротивъ, находилъ, что придворная служба отвлечетъ лицеистовъ отъ учебныхъ занятій и причинитъ вредъ ихъ умственному развитію. Государь уступилъ.

Энгельгардтъ не стѣснялся и въ присутствіи воспитанниковъ защищать ихъ отъ неосновательныхъ требованій начальства. Однажды строгій генералъ, посѣтившій лицей, увидѣлъ одного воспитанника, не застегнутымъ на всѣ пуговицы.

— Почему,--обратился онъ къ директору, — этотъ воспитанникъ не застегнутъ, какъ должно?

Александръ Пушкинъ, лицеистъ.

— Потому,—отвѣчалъ Энгельгардтъ,—что ему послѣ игры, вѣроятно, жарко.

Лицеисты высоко цѣнили своего директора, усердно посѣщали его вечера и, по выходѣ изъ лицея, не прекращали съ нимъ дружескихъ отношеній. Исключеніемъ оказался Пушкинъ. Онъ рѣдко и неохотно бывалъ у Энгельгардта и не подчинялся общему увлеченію. Однажды между ними произошла слѣдующая сцена.

Во время перемѣны Пушкинъ сидѣлъ у своего стола. Энгельгардтъ подошелъ къ нему и съ обычною ласкою спросилъ,—за что онъ сердится на него? Пушкинъ смутился и отвѣчалъ, что сердиться на директора не смѣетъ, не имѣетъ причинъ.

— Такъ вы не любите меня?—продолжалъ Энгельгардтъ и сѣлъ подлѣ Пушкина.

Глубоко прочувствованнымъ голосомъ онъ началъ сѣтовать на его отчужденіе отъ общества, восхищаться его блестящими дарованіями, сулить ему одно изъ первыхъ мѣстъ въ обществѣ.

Пушкинъ слушалъ, хмурилъ брови, мѣнялся въ лицѣ; наконецъ, заплакалъ и кинулся на шею Энгельгардту, восклицая:

— Я виноватъ въ томъ, что до сихъ поръ не понималъ и не умѣлъ цѣнить васъ.

Энгельгардтъ самъ расплакался и, какъ юноша, радовался раскаянію Пушкина, его рѣшенію — прекратить свое одиночество, приходилъ въ восторгъ, ожидая видѣть его у себя. Они разстались, повидимому, вполнѣ довольные другъ другомъ. Но минутное увлеченіе прошло,—и Пушкинъ продолжалъ по-прежнему сторониться директора, даже рисовалъ на него каррикатуры и сочинялъ стихи.

Товарищи изумлялись упорству поэта,—но оно объясняется очень просто. Пушкинъ не могъ забыть прежняго впечатлѣнія, какое онъ произвелъ на Энгельгардта. Директоръ, два мѣсяца спустя послѣ своего вступленія въ лицей, составилъ

отзывы о своихъ воспитанникахъ—и самый суровый выпалъ на долю Пушкина.

Энгельгардтъ увидѣлъ только однѣ дурныя стороны въ умѣ и характерѣ Пушкина, призналъ высшей и единственной его цѣлью—блестѣть своимъ поэтическимъ талантомъ, нашелъ въ немъ отвращеніе ко всякому серьезному ученію, умъ его назвалъ—поверхностнымъ, пустымъ, чисто-французскимъ умомъ, и даже сердце—холоднымъ, лишеннымъ любви и религіи, воображеніе—испорченнымъ...

Это—смертный нравственный приговоръ,—и Пушкинъ, несомнѣнно, зналъ о немъ. Онъ чувствовалъ себя жестоко оскорбленнымъ; его пламенная, гордая природа не могла помириться съ такимъ унизительнымъ судомъ,—Энгельгардтъ скоро убѣдился въ своей ошибкѣ и усердно старался загладить ее,—но безуспѣшно. Врожденная сердечность по временамъ проявлялась у Пушкина, но онъ тотчасъ же вспоминалъ объ обидѣ, ему снова становилось горько и больно,—и онъ подавлялъ въ себѣ доброе чувство и снова сторонился Энгельгардта.

Благородный воспитатель не мстилъ и даже не гнѣвался. Очевидно, онъ вполнѣ понялъ будущаго великаго поэта, и вскорѣ ему пришлось доказать, какъ искренно онъ усиливался загладить свое заблужденіе и какое истинно-отеческое чувство питалъ онъ къ своему непримиримому питомцу. Но обида все-таки совершилась. Не отстали отъ директора и остальные учителя. Еще раньше Энгельгардта они дали свои отзывы о Пушкинѣ, и ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ и слѣда сердечнаго, вдумчиваго отношенія къ необыкновенному ребенку. Одинъ только профессоръ упоминалъ о добродушіи и учтивости Пушкина, всѣ признавали въ немъ остроуміе, дарованія,—но всѣ также сурово осуждали легкомысліе, вѣтреность и нерадѣніе.

И такой приговоръ произносили ученые господа, требо-

вавшіе скучнаго зубренья, или морившіе своихъ питомцевъ высокопарнымъ стихоплетствомъ.

Очевидно, и въ лицеѣ Пушкину предстояло самому заботиться о своемъ умственномъ развитіи и найти настоящій путь своему таланту.

VI.

Начальство лицея оказывало великую услугу воспитанникамъ, не отстраняя ихъ отъ внѣшняго міра, не закрывая предъ ихъ глазами современныхъ историческихъ событій. Россія и вся Европа переживали въ высшей степени знаменательное время, сначала—походъ Наполеона на Москву, потомъ двукратное отреченіе его отъ престола и окончательное изгнаніе. Въ Россіи не было человѣка, не слѣдившаго съ мучительнымъ безпокойствомъ за судьбой грознаго завоевателя, и лицей принималъ горячее участіе въ общемъ дѣлѣ своего отечества.

Началось съ того, что лицеисты провожали всѣ гвардейскіе полки.

Войска проходили мимо самаго лицея, уроки прерывались, воспитанники выходили изъ классовъ, напутствовали воиновъ молитвами, обнимались съ родными и знакомыми; усатые гренадеры изъ рядовъ благословляли ихъ крестомъ; многіе плакали, и Пушкинъ потомъ вспоминалъ:

„Сыны Бородина, о, кульмскіе герои!
„Я видѣлъ, какъ на брань летѣли ваши строи;
„Душой восторженной за братьями летѣлъ“...

Военныя вѣсти въ изобиліи получались въ лицеѣ; по вечерамъ одинъ изъ профессоровъ читалъ ихъ въ залѣ; иностранныя и русскія газеты были въ рукахъ у всѣхъ; лицеисты горячо обсуждали событія, и въ бесѣдахъ участвова-

ли наставники. Лицейская семья становилась тѣснѣй, образовались кружки, отдѣльные воспитанники ближе узнали другъ друга, возникли дружескія связи на всю жизнь.

Пушкинъ съ самаго начала обнаружилъ поразительный поэтическій талантъ и горячую отзывчивость на современную жизнь. Воспитанникамъ иногда давались задачи — описать стихами какой-нибудь предметъ. Кошанскій однажды предложилъ воспѣть розу, и Пушкинъ мгновенно выполнилъ задачу. Это происходило въ первый годъ ученія, и, можетъ-быть, стихи о розѣ были первымъ русскимъ стихотвореніемъ Пушкина. Товарищи пользовались талантомъ Пушкина, и онъ нерѣдко писалъ имъ стихотворныя сочиненія. Однажды произошелъ забавный случай съ однимъ ученикомъ, очевидно, плохо знавшимъ родной языкъ и не блиставшимъ особенной сообразительностью. Профессоръ задалъ описать *Восходъ солнца*. Всѣ написали, какъ умѣли; остановка была за однимъ: онъ успѣлъ написать только одну фразу: „Грядетъ съ *заката* царь природы“,—и дальше ничего не могъ придумать. Онъ обратился къ Пушкину съ просьбой помочь ему.—„Изволь“,—отвѣтилъ Пушкинъ и въ одну минуту прибавилъ къ написанному стиху еще три:

„И изумленные народы „Не знаютъ, что́ начать—
„Ложиться спать или вставать“.

Сочиненіе было подано профессору.

Талантъ Пушкина росъ и зрѣлъ не по днямъ, а по часамъ, и поэтъ успѣвалъ отзываться своими стихами и на лицейское происшествіе, воспѣть лицейскую шалость, и ознаменовать историческое событіе. Онъ самъ разсказалъ, какъ неотступно рѣяло вдохновеніе надъ его ранней молодостью, и это—любопытнѣйшая исповѣдь великаго поэта!

„Все волновало нѣжный умъ: „Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
„Цвѣтущій міръ, луны блистанье, „Старушки чудное преданье...

„Какой-то демонъ обладалъ
„Моими играми, досугомъ;
„За мной повсюду онъ леталъ,
„Мнѣ звуки дивные шепталъ,
„И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
„Была полна моя глава;
„Въ ней грезы чудныя рождались,
„Въ размѣры стройные стекались
„Мои послушныя слова
„И звонкой риѳмой замыкались".

Поэту даже во снѣ грезились стихи, онъ короталъ стихами часы заключенія въ карцерѣ, онъ даже больной не забывалъ ихъ, и товарищи толпой собирались къ нему въ лазаретъ,—послушать новое стихотвореніе.

Лицеисты безпрестанно издавали журналы и сборники, и Пушкинъ являлся однимъ изъ усерднѣйшихъ сотрудниковъ. Стихи ему давались легко, и поэтъ могъ въ одну минуту сочинить крылатую эпиграмму, нѣжное посланіе, разсказать въ стихахъ смѣшную исторію.

Но это была шалость стихами, а не талантомъ. Пушкинъ уже въ лицеѣ начинаетъ въ высшей степени осторожно относиться къ своимъ стихамъ, и особенно—къ своему авторскому имени. Онъ уже понимаетъ, что настоящему поэту мало способности бойко сочинять звучные стихи. Онъ долженъ учиться своему искусству, иначе онъ навсегда останется только посредственнымъ стихотворцемъ, и Пушкинъ подтверждаетъ эту истину примѣрами. Онъ предупреждаетъ своего лицейскаго друга, также стихотворца:

„Не тотъ поэтъ, кто риѳмы плесть умѣетъ
„И, перьями скрипя, бумаги не жалѣетъ"...

Стихи не легко писать, т.-е. стихи дѣйствительно поэтическіе, и Пушкинъ съ большимъ выборомъ печатаетъ свои произведенія. Онъ дорожитъ своимъ именемъ, въ первый разъ пускаетъ его въ публику въ 1814 году и подписываетъ его только подъ лучшими, по его мнѣнію, стихотвореніями.

Въ немъ уже теперь вырабатывается „взыскательный художникъ", самый строгій и добросовѣстный критикъ собствен-

ныхъ произведеній. Онъ небрежно занимается уроками, но не перестаетъ страстно отдаваться чтенію. Онъ еще въ лицеѣ начинаетъ восхвалять уединеніе, отшельничество, оно на всю жизнь останется однимъ изъ любимѣйшихъ предметовъ его поэзіи и задушевнѣйшей мечтой: уйти отъ общества и свѣта, окружить себя книгами и бесѣдовать съ неизмѣнными и безсмертными друзьями ума и генія.

„Укрывшись въ кабинетъ, „Друзья мнѣ мертвецы,
„Одинъ я не скучаю „Надъ полкою простою,
„И часто цѣлый свѣтъ „Подъ тонкою тафтою
„Съ восторгомъ забываю. „Со мной они живутъ“...

И поэтъ подробно перечисляетъ этихъ друзей: здѣсь рядомъ и французскіе, и русскіе писатели, поэты и критики И со всѣми коротко знакомъ молодой читатель, самъ создавшій себѣ университетъ и въ себѣ самомъ, въ своей богатоодаренной природѣ нашедшій лучшаго наставника и руководителя.

Естественно, Пушкинъ становится свѣтиломъ лицея. Онъ— всѣми признанный выразитель патріотическихъ чувствъ лицеистовъ, онъ — вдохновенный историкъ совершающихся событій. Онъ напишетъ цѣлую исторію новой Россіи въ *„Воспоминаніяхъ въ Царскомъ Селѣ“*, прославитъ героевъ Екатерины, не забудетъ и поэтовъ, оплачетъ бѣдствія Россіи въ отечественную войну и закончитъ хвалой Александру. Онъ изобразитъ Наполеона на Эльбѣ, будетъ привѣтствовать обширной поэмой возвращеніе царя изъ Парижа и освобожденіе міра отъ кроваваго деспота; онъ переживетъ всю современную драму, и никто изъ современныхъ поэтовъ не сумѣетъ воздвигнуть ей такого блестящаго поэтическаго памятника.

Это признаютъ сами поэты. Жуковскій позволяетъ лицейскому поэту докончить гимнъ *„Боже, царя храни“* и пѣть его въ годовщину лицея; Нелединскій-Мелецкій, получивъ отъ

императрицы предложеніе написать стихъ на семейный царскій праздникъ, передаетъ порученіе тому же поэту.

Пушкина привѣтствуютъ знаменитѣйшіе современники и даже начинаютъ спрашивать его совѣтовъ; Жуковскій читаетъ ему свои стихи, и если Пушкинъ не запоминаетъ ихъ и не повторяетъ потомъ,—Жуковскій или исправляетъ ихъ или совсѣмъ уничтожаетъ. Карамзинъ также приглашаетъ молодого поэта въ избранный кружокъ, которому онъ читаетъ рукопись своей *„Исторіи Государства Россійскаго“*. Наконецъ, самая яркая звѣзда русской поэзіи, блестящее украшеніе екатерининскаго времени, Державинъ, присоединяетъ свое благословеніе къ общему чувству удивленія.

Это—цѣлое событіе, и Пушкинъ не забывалъ его всю жизнь. Онъ самъ разсказалъ его съ большими подробностями, — восемнадцать лѣтъ спустя.

Въ началѣ января, въ 1815 г., въ лицеѣ происходило первое публичное испытаніе. Среди многочисленной публики явился и Державинъ.

Онъ былъ очень старъ; экзаменъ его сильно утомилъ; поэтъ сидѣлъ, подперши голову рукой; лицо его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ по русской словесности. Тутъ онъ оживился, глаза заблистали, онъ преобразился весь. Воспитанники читали, разбирали и хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ необыкновенной живостью. Вызвали Пушкина, и онъ, въ двухъ шагахъ отъ Державина, началъ читать *„Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“*. Когда юному автору пришлось упомянуть имя и славу Державина, голосъ его зазвенѣлъ, его охватило невыразимое волненіе, сердце восторженно забилось.—„Не помню,—разсказываетъ Пушкинъ:—какъ я кончилъ свое чтеніе, не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи: онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять... Меня искали, но не нашли“.

Пущинъ нѣсколько иначе разсказываетъ конецъ происшествія и рисуетъ такую трогательную и яркую картину, что врядъ ли можно сомнѣваться въ правдивости разсказа. Поэту, можетъ быть, измѣнила память, и, восемнадцать лѣтъ спустя, онъ не могъ возстановить всѣхъ подробностей: раньше, въ стихахъ, онъ и самъ не противорѣчилъ разсказу Пущина.

„На публичномъ нашемъ экзаменѣ,—говоритъ Пущинъ,—Державинъ державнымъ своимъ благословеніемъ увѣнчалъ юнаго поэта. Мы всѣ, друзья-товарищи его, гордились этимъ торжествомъ. Пушкинъ тогда читалъ свои *„Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“*. Въ этихъ великолѣпныхъ стихахъ затронуто все живое для русскаго сердца. Читалъ Пушкинъ съ необыкновеннымъ оживленіемъ. Пока я слушалъ знакомые стихи, морозъ по кожѣ пробѣгалъ у меня. Когда же патріархъ нашихъ пѣвцовъ, въ восторгѣ, со слезами на глазахъ, бросился цѣловать поэта и осыпалъ кудрявую его голову,—мы всѣ, подъ какимъ-то невѣдомымъ вліяніемъ, благоговѣйно молчали. Хотѣли сами обнять нашего пѣвца, его ужъ не было: онъ убѣжалъ!

Но Пушкинъ восхитилъ не меньше и всѣхъ другихъ гостей. На обѣдѣ у министра народнаго просвѣщенія всѣ наперерывъ удивлялись молодому таланту и предсказывали ему блестящую славу. Присутствовалъ и отецъ поэта. Министръ, сочувствуя общимъ похваламъ, замѣтилъ Сергѣю Львовичу:

— Я бы желалъ, однакожъ, образовать сына вашего въ прозѣ.

— Оставьте его поэтомъ,—возразилъ съ жаромъ Державинъ.

Пушкинъ до конца остался благодарнымъ за этотъ привѣтъ. Онъ неоднократно вспоминалъ о важнѣйшемъ событіи своей лицейской жизни и говорилъ:

„Славный старецъ нашъ, царей пѣвецъ избранный,
„Крылатымъ геніемъ и граціей вѣнчанный,

„Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
„И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной".

Жуковскій въ то время жилъ въ Москвѣ. Онъ получилъ стихи Пушкина, явился съ ними къ своимъ друзьямъ, прочиталъ ихъ вслухъ и заявилъ:

— Вотъ у насъ настоящій поэтъ!

Съ такой славой Пушкину предстояло покинуть лицей. Его уже *окрылила* успѣхъ, и онъ самъ, и всѣ его товарищи—вѣрили въ его необыкновенное будущее. Даже плохо понимавшіе его наставники невольно склонялись предъ чудной силой таланта. Они прощали ему его равнодушіе къ ненавистной математикѣ, къ географіи, статистикѣ и нелюбовь къ нѣмецкому языку. Пушкинъ, видимо, занялъ особое положеніе, и лицей видѣлъ въ немъ свою славу и украшеніе—независимо отъ школьныхъ отмѣтокъ.

И Пушкинъ понималъ это. Онъ сохранилъ сердечную память о лицеѣ, гдѣ впервые его геній встрѣтилъ любовь и удивленіе, откуда онъ вынесъ юношескую вѣру въ свое призваніе. До конца дней онъ не перестанетъ праздновать незабвенный день 19 октября, посвящать вдохновенныя привѣтствія этой годовщинѣ. Въ самый день выпуска, 9 іюня 1817 года, онъ обратился къ товарищу съ такими словами:

„Прости! Гдѣ бъ ни былъ я: въ огнѣ ли смертной битвы,
„При мирныхъ ли брегахъ родимаго ручья,
„Святому братству вѣренъ я".

И Пушкинъ сдержалъ слово. Его имя объединяло лицеистовъ его выпуска. Они неизмѣнно собирались праздновать родную годовщину, и поэтъ имѣлъ полное право сказать о себѣ и о своихъ друзьяхъ:

„Намъ цѣлый міръ чужбина— „Отечество намъ—Царское Село".

И въ далекомъ будущемъ, когда поэту пришлось испытать много горя, разочароваться во многихъ надеждахъ и людяхъ,

ему припоминалось лицейское прошлое. Онъ сравнивалъ себя съ евангельскимъ расточителемъ, который, въ порывѣ раскаянія, возвратился въ родимую обитель, поникъ головой и зарыдалъ.

Такъ и поэтъ, послѣ скоротечныхъ восторговъ, послѣ безплодной житейской суеты, думалъ о благословенномъ пріютѣ своей юности, о лицейскихъ садахъ, вновь видѣлъ себя отрокомъ то пылкимъ, то лѣнивымъ и забывался въ отрадныхъ мечтахъ...

Поэтъ говорилъ горькую правду. За стѣнами лицея, его, дѣйствительно, ждала громкая слава,—но въ то же время—и жестокій холодъ жизни, неустанная борьба за молодыя надежды и мечты и неумолимая вражда мелкихъ и злыхъ людей.

VII.

Пушкинъ откровенно говорилъ о своей юношеской пылкости, даже о безуміи и гибельныхъ страстяхъ. Все это жгло и мучило поэта одновременно съ его геніемъ. Наслѣдственная кровь часто брала верхъ надъ свѣтлымъ умомъ и подчиняла себѣ самый талантъ. Она сдѣлала Пушкина однимъ изъ первыхъ героевъ лицейскихъ исторій, очень рано превратила въ поэта юношескихъ увлеченій, создала изъ него веселаго собесѣдника и блестящаго острослова среди гусаръ и „вѣрныхъ друзей бокала“. Лицейская наука; отнюдь не увлекательная и не талантливая, менѣе всего могла помѣшать увлеченіямъ; наставники могли имѣть только слабое вліяніе на молодежь, а нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ Галичъ, даже участвовали въ лицейскихъ веселыхъ вечерахъ.

Пушкинъ отдалъ дань этому веселью. Его талантъ воодушевлялъ товарищескія пирушки, его блестящій стихъ увѣковѣчивалъ лицейскія происшествія,—и приходится удивлять-

ся, сколько молодой поэтъ успѣлъ сдѣлать для своего умственнаго развитія—среди такой жизни. Поразительна именно эта способность — трудиться и думать, когда другому было бы впору только веселиться и заниматься приключеніями. И въ теченіе всей жизни Пушкина наще вниманіе должно быть сосредоточено не на бурныхъ порывахъ его огненной на-

Баронъ Антонъ Дельвигъ

туры, а на его неутомимой заботливости о своемъ умственномъ развитіи и образованіи, на его страсти къ чтенію, на его упорномъ желаніи имѣть о каждомъ литературномъ и общественномъ вопросѣ свое продуманное и провѣренное су-

жденіе. Ничего этого лицей не далъ Пушкину. Ему поэтъ обязанъ только нѣсколькими друзьями—истиннымъ утѣшеніемъ его жизни. Среди нихъ первое мѣсто принадлежитъ Пущину и, въ особенности,—барону Дельвигу.

Баронъ характеромъ совсѣмъ не походилъ на Пушкина: спокойный, лѣнивый, даже неподвижный, но талантливый поэтъ, вѣрный другъ и благородный человѣкъ. Пушкинъ питалъ къ нему нѣжнѣйшую любовь, тосковалъ о немъ въ разлукѣ, при встрѣчѣ осыпалъ поцѣлуями,—друзья даже цѣловали руки другъ у друга и не могли наговориться. Пушкинъ талантъ друга ставилъ выше своего и огорчался, что Дельвигомъ восхищаются меньше, чѣмъ имъ. Онъ готовъ былъ видѣть въ Дельвигѣ всѣ достоинства, какихъ недоставало ему самому. — „Мóчи нѣтъ, — хочется Дельвига“, — писалъ Пушкинъ изъ своего деревенскаго уединенія, — и, когда Дельвигъ умеръ, не могъ утѣшиться въ его смерти. Такъ умѣлъ любить поэтъ и такъ горячо платилъ за всякое искреннее чувство! Друзья это знали и внимательно слѣдили за судьбой Пушкина, дорожили и гордились его славой. И Пушкинъ нуждался въ такой заботливости.

По выходѣ изъ лицея, Пушкинъ остался на распутьи. Онъ вступилъ въ свѣтское общество и нашелъ здѣсь тѣхъ же людей, тѣ же нравы, тѣ же занятія,—все то же, что онъ видѣлъ и зналъ еще съ дѣтства. Балы, французскіе разговоры, картежныя игры, театральныя увлеченія молодежи и стариковъ,—дальше не шелъ такъ называемый большой свѣтъ,—и поэту приходилось оставить гостиныя или—съ волками поволчьи выть,—по крайней мѣрѣ, привыкнуть къ ихъ образу жизни.

Отъ восемнадцатилѣтняго юноши невозможно было ожидать рѣшенія превратиться въ отшельника, замкнуться въ библіотекѣ и отдаться исключительно книгамъ. Этого не могъ сдѣлать Пушкинъ и какъ поэтъ. Ему необходимо было самому

видѣть жизнь, наблюдать людей,—тогда только его произведенія могли выходить правдивыми и поучительными. И Пушкинъ не бѣжалъ свѣтскаго общества.

Его безпрестанно встрѣчали въ театрѣ; онъ любилъ бывать среди аристократовъ, не уклонялся и отъ веселыхъ компаній и даже превосходилъ другихъ веселіемъ и способностью увлекаться.

И это понятно. Даже свѣтскіе и военные пріятели Пушкина знали, что онъ сочиняетъ стихи, что онъ писатель,—значитъ, человѣкъ серьезный и не имъ чета. Положеніе поэта становилось тягостнымъ, подчасъ мучительнымъ, и онъ усердно старался быть, какъ всѣ, не показывать своего геніальнаго превосходства, пользоваться имъ развѣ только для оживленія общества, сыпать стихами, остротами, придумывать неожиданныя забавы и пускаться въ самыя отважныя удовольствія. И Пушкинъ былъ впереди всѣхъ въ затѣяхъ молодежи и ободрялъ другихъ пламеннѣйшими рѣчами:

„Ахъ, младость не приходитъ вновь!
„Зови же сладкое бездѣлье,
„И легкокрылую любовь,
„И легкокрылое похмелье!
„До капли наслажденье пей,
„Живи безпеченъ, равнодушенъ!
„Мгновенью жизни будь послушенъ,
„Будь молодъ въ юности твоей!“

И самъ поэтъ первый выполнялъ эти совѣты. Друзья приходили въ ужасъ за его талантъ и даже за его личное достоинство. Имъ было больно видѣть, какъ онъ тратитъ силы и время въ обществѣ блестящихъ глупцовъ, тратитъ свой умъ на потѣхи знатныхъ ничтожествъ, и Пущинъ не разъ говорилъ ему—и по-дружески, и съ негодованіемъ:

— Что тебѣ за охота, любезный другъ, возиться съ этимъ народомъ? Ни въ одномъ изъ нихъ ты не найдешь сочувствія.

Пушкинъ понималъ справедливость упрека, терялся и принимался обнимать Пущина,—но отстать отъ недостойныхъ

пріятелей у него не хватало духу. И онъ жестоко платился за свое злополучное малодушіе.

Какъ бы ни старался Пушкинъ скрыть свою избранную природу, свой высокій геній, свою благородную гордость великаго человѣка,—все это прорывалось невольно, возмущалось чужой пошлостью,—и тогда поэтъ забывалъ свѣтскую сдержанность и бросалъ жестокой насмѣшкой въ надутое ничтожество и самообольщенную глупость. Его остроты горѣли клеймомъ на его жертвахъ, на всю жизнь оставались ихъ прозвищами, „особыми примѣтами“,—и какъ же жестоко должны были мстить осмѣянные своему насмѣшнику! Для нихъ всякій предлогъ—хорошъ, и всякій случай—удобенъ, а Пушкина ничего не стóитъ вывести изъ себя,—и вотъ дуэль готова, исторія создана. И такъ безъ конца. Поэтъ,—будто въ заколдованномъ кругу: уйти отъ свѣта—мѣшаютъ молодость и жажда жизни, а свѣтъ переполненъ смѣшными уродами, дерзкими себялюбцами, надменными невѣждами, и глупцами. Не стерпѣть горячему сердцу поэта,—и имя его становится сказкой города, онъ быстро пріобрѣтаетъ славу неуживчиваго и даже опаснаго человѣка.

А тутъ еще—такой могучій талантъ—всякую насмѣшку заострить бойкой риѳмой, во мгновеніе ока обличить темную и презрѣнную душу фальшиваго умницы и бездарной знаменитости. Тысячи устъ уже на слѣдующій день повторяютъ стихотвореніе, оно разлетается въ спискахъ по всей Россіи,—и ужъ ничѣмъ не поправить дѣла: приходится испивать чашу всеобщаго смѣха до дна и мстить, мстить безпощадно страшному стихотворцу.

И ему мстятъ. Сплетни кружатся вихремъ вокругъ поэта, не щадятъ его совѣсти и чести, роются въ его личной жизни, поносятъ его талантъ, извращаютъ его слова и мысли, одновременно стремятся его унизить и погубить. Сплетники становятся тѣмъ озлобленнѣе, что безпокойный человѣкъ быстро вы-

растаетъ, какъ писатель, въ девятнадцать лѣтъ грозитъ затмить всѣхъ почтенныхъ знаменитостей. Сами эти знаменитости, даже искренно расположенные къ таланту удивительнаго поэта, начинаютъ приходить въ безпокойство. — „Этотъ бѣшеный сорванецъ насъ всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ“, — пишетъ одинъ изъ даровитѣйшихъ современныхъ писателей,—князь Вяземскій—Жуковскому. А Жуковскій выражаетъ свое удивленіе еще сильнѣй. Онъ даритъ Пушкину свой портретъ съ надписью:—„Ученику-побѣдителю отъ побѣжденнаго учителя въ высокоторжественный день окончанія *„Руслана и Людмилы“*. Надпись—отзывается добродушнымъ стихомъ, но смыслъ ея значителенъ: Пушкинъ—уже авторъ обширной поэмы, онъ уже поэтъ для всей Россіи.

Когда онъ успѣлъ написать свою сказку? Это—загадка даже для близкихъ друзей. Все время, повидимому, уходило на театръ, на пріемы и разъѣзды по гостямъ и весьма часто — на дуэли; кромѣ того, два раза повторялась продолжительная и опасная болѣзнь, горячка,—откуда же взялась поэма,— очень большая и написанная блестящими, до тѣхъ поръ неслыханными стихами?

Въ лицеѣ Пушкинъ писалъ много и талантливо, — но эти стихи чаще всего были подражаніями чужимъ стихамъ. Молодой поэтъ страстно увлекался Жуковскимъ, Батюшковымъ и даже ранними поэтами—Ломоносовымъ, Державинымъ, писалъ иногда возвышенной рѣчью—правда рѣдко, но, напримѣръ, *„Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“* могли бы понравиться даже Кошанскому. Много сочинялось стихотвореній игриваго содержанія, простыхъ и искреннихъ; но на все это строгіе судьи могли смотрѣть, какъ на пустячки, хотя и очень талантливые,—и Батюшковъ гововорилъ съ сожалѣніемъ:—„изъ Пушкина ничего не выйдетъ путнаго, если онъ самъ не захочетъ“.

Батюшковъ говорилъ правду: дѣйствительно, надо было *са-*

мому хотѣть и очень сильно, чтобы въ лицеѣ, а потомъ въ петербургскомъ обществѣ остаться *чѣмъ-нибудь*. И Пушкинъ, неожиданно для всѣхъ,—оказывается,—*хотѣлъ*. Прежде всего онъ хотѣлъ славы, и это желаніе страстно волновало его еще въ лицеѣ, потомъ хотѣлъ свободы — истинно-человѣческой свободы. Ни того, ни другого не могли дать—свѣтъ и свѣтскія удовольствія. Поэтъ въ нѣсколькихъ словахъ изобразилъ, чѣмъ могло порадовать свѣтское общество его и всякаго другого:

„Ты тамъ на шумныхъ вечерахъ „И глупость въ золотыхъ очкахъ,
„Увидишь важное бездѣлье, „И тяжкой знатности веселье,
„Жеманство въ тонкихъ кружевахъ, „И муку съ картами въ рукахъ".

На минуту все это можетъ занять, но потомъ станетъ смѣшно и скучно,—и поэтъ покидалъ гостиную ради своей маленькой комнатки на Фонтанкѣ, гдѣ,—говорилъ онъ,—

„Умъ кипитъ и въ мысляхъ воленъ я".

Здѣсь онъ принимался бесѣдовать съ своимъ „тайнымъ другомъ", т.-е. съ поэмой. Бесѣда велась съ большимъ трудомъ, поэтъ долго искалъ героя для своей сказки среди русскихъ богатырей, составлялъ множество плановъ. Усердно отдѣлывалъ всякую подробность, работая надъ каждымъ стихомъ,— и это продолжалось цѣлыхъ три года—въ самый разгаръ удовольствій! Такъ могъ работать уже не ученикъ, а мастеръ и притомъ страстно любящій и уважающій свое дѣло. Какъ должны были изумиться суровые судья, презрительно смотрѣвшіе на проказы вертопраха! Имъ вполнѣ могли сочувствовать и великосвѣтскіе пріятели поэта, не подозрѣвавшіе его работы, и снисходительно слушавшіе его остроты и стихи.

Но особенно поражена и восхищена публика. Никто съ ней не говорилъ такими простыми, звучными стихами. Никто такъ красиво не описывалъ ей увлекательныхъ сценъ любви, не разсыпалъ въ сказочномъ разсказѣ такихъ сверкающихъ

шутокъ, такъ изящно не игралъ русскимъ стихомъ. Пусть Руслань весьма мало походитъ на Еруслана Лазаревича и Людмила—вовсе не русская царевна,—все равно, въ поэмѣ оказывалось столько забавныхъ или трогательныхъ сценъ, столько поэтическихъ картинъ, столько интересныхъ героевъ и остроумныхъ разговоровъ, что пропадала всякая охота критиковать. Дивные стихи лились въ душу и невольно запоминались.

И публика отвѣтила шумнымъ восторгомъ на первую поэму Пушкина, навѣянную ему разсказами няни. Читателей восторгали простыя русскія слова, переполнявшія поэму. Они не находили здѣсь напыщенной рѣчи прежнихъ талантовъ, всѣ предметы назывались ихъ будничными именами, и, оказывалось, весьма многіе изъ этихъ предметовъ были очень поэтичны и живописны. Всѣ чувствовали начало чего-то новаго, самобытнаго въ русской поэзіи, естественнаго, правдиваго. Рабство предъ иноземными учителями, очевидно, должно было кончиться: молодой поэтъ явно шелъ къ свободѣ русскаго слова и русскаго чувства.

Но еще не успѣла поэма явиться въ печати, — надъ поэтомъ разразилась гроза. Мы знаемъ,—она давно собиралась, и Пушкинъ нисколько не заботился разогнать тучу,—напротивъ, съ каждымъ днемъ его стихъ становился смѣлѣе и острѣе; — онъ, наконецъ, поразилъ грознаго временщика — графа Аракчеева, человѣка невѣжественнаго и жестокаго, но очень сильнаго и мстительнаго.

VIII.

Если бы судьба Пушкина зависѣла исключительно отъ раздраженныхъ на него важныхъ особъ,—ему пришлось бы жестоко поплатиться и, можетъ быть, даже навсегда заглушить свой талантъ. Но надъ славой Россіи бодрствовалъ добрый геній и пока спасъ Пушкина.

Прежде всего императоръ Александръ уже былъ знакомъ съ талантомъ поэта. На его просьбу — дать ему прочитать какое-нибудь произведеніе Пушкина—ему представили „*Деревню*“. Стихотвореніе было написано въ Михайловскомъ,—въ имѣніи родителей поэта. Поэтъ описывалъ прелести деревенскаго уединенія, цвѣтущую природу — и сравнивалъ съ ней горькую участь крѣпостного народа. Большой свѣтъ, очевидно, не заставилъ Пушкина забыть о черномъ народѣ, не затуманилъ его взгляда на жестокую правду крестьянскаго быта. Въ немногихъ словахъ поэтъ разсказалъ вѣрную исторію русской деревни, ярко нарисовалъ рабство и позоръ угнетенныхъ, и прихоти и своеволіе владыкъ. Разсказъ оканчивался страстной жаждой лучшаго свободнаго будущаго. Поэтъ говоритъ:

„О, если бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
„Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ—
„И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
„Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
„И рабство падшее, по манію царя,
„И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
„Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?“

Государь прочиталъ стихотвореніе и сказалъ:

— Поблагодарите Пушкина за добрыя чувства, которыя пробуждаются этими стихами.

Иначе думали объ этихъ стихахъ рабовладѣльцы; они не могли простить поэту ни его желанія, ни его успѣха, — но Александръ понималъ силу молодого таланта и не склоненъ былъ губить его въ первомъ расцвѣтѣ.

Того же мнѣнія оказался и петербугскій генералъ-губернаторъ, Милорадовичъ. По распоряженію государя, онъ призвалъ къ себѣ поэта, и между ними произошла любопытная сцена. Ее, часа три спустя, разсказалъ самъ Милорадовичъ своему чиновнику особыхъ порученій, писателю Ѳедору Глинкѣ — восторженному поклоннику Пушкина.

Лишь только Глинка вошелъ къ генералъ-губернатору, онъ закричалъ:

— Знаешь, душа моя, у меня сейчасъ былъ Пушкинъ! Мнѣ, вѣдь, велѣно взять его и забрать всѣ его бумаги; но я счелъ болѣе деликатнымъ пригласить его къ себѣ и ужъ отъ него самого вытребовать бумаги. Вотъ онъ и явился очень спокоенъ, съ свѣтлымъ лицомъ и, когда я спросилъ о бумагахъ, онъ отвѣчалъ:—„Графъ! всѣ мои стихи сожжены. У меня ничего не найдется въ квартирѣ. Но, если вамъ угодно, все найдется *здѣсь* (указалъ пальцемъ на свой лобъ). Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною (разумѣется, кромѣ печатнаго), съ отмѣткою, что̀ мое и что̀ разошлось подъ моимъ именемъ“.—Подали бумаги. Пушкинъ сѣлъ и писалъ, писалъ... и написалъ цѣлую тетрадь. Вотъ она (указывая на столъ у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли?—Пушкинъ плѣнилъ меня своимъ благороднымъ тономъ и манерою обхожденія“.

Между тѣмъ, вѣсть объ исторіи съ Пушкинымъ разнеслась по городу. Одинъ изъ друзей поэта обратился къ Карамзину, разсказалъ ему происшествіе и просилъ его—походатайствовать у императрицы, очень расположенной къ историку. Самъ Пушкинъ также явился просить Карамзина о защитѣ. Карамзинъ часто принималъ у себя Пушкина, признавая его талантъ, но не питалъ къ нему особеннаго расположенія. Исторіографъ находился на верху своей славы, на него почти молились,—въ семьѣ и въ обществѣ, онъ привыкъ считать себя непогрѣшимымъ, недосягаемымъ по уму и таланту; жилъ онъ и чувствовалъ себя величественнымъ сановникомъ, весь домъ его былъ настроенъ необыкновенно чинно и внушительно. Все это совсѣмъ не могло нравиться кипучей, свободолюбивой натурѣ Пушкина. Не признавалъ онъ безусловнымъ совершенствомъ и *„Исторію Государства Россійскаго“*, гдѣ совсѣмъ не принималась въ расчетъ вѣковая жизнь русскаго

народа, и все ограничивалось жизнеописаніями великихъ князей и царей. Очевидно, Карамзинъ не могъ близко сойтись съ молодымъ Пушкинымъ и отнесся къ его бѣдѣ очень спокойно. Онъ, прежде всего, взялъ съ поэта честное слово, по крайней мѣрѣ, въ теченіе года не писать вольныхъ стиховъ: иначе Карамзинъ опасался быть лжецомъ предъ властями. Пушкинъ далъ слово и сдержалъ.

Безъ всякихъ упрековъ, наставленій и честныхъ словъ, поспѣшилъ защитить Пушкина Энгельгардтъ.

Онъ встрѣтился съ государемъ въ царско-сельскомъ саду, и государь обратился къ нему съ такою рѣчью:

— Энгельгардтъ, Пушкина надобно сослать... Онъ наводнилъ Россію возмутительными стихами. Вся молодежь наизусть ихъ читаетъ. Мнѣ нравится откровенный его поступокъ съ Милорадовичемъ, но это не исправляетъ дѣла.

Директоръ лицея отвѣчалъ:

— Воля вашего величества... Но вы мнѣ простите, если я позволю себѣ сказать слово за бывшаго своего воспитанника. Въ немъ развивается необыкновенный талантъ, который требуетъ пощады. Пушкинъ теперь—уже краса современной нашей литературы, а впереди еще больше на него надежды. Ссылка можетъ губительно подѣйствовать на пылкій нравъ молодого человѣка. Я думаю, что великодушіе ваше, государь, лучше вразумитъ его.

Милорадовичъ, докладывая государю свой разговоръ съ Пушкинымъ, просилъ его не читать стиховъ. Государь улыбнулся и спросилъ:

— А что жъ ты сдѣлалъ съ авторомъ?

— Я?.. Я объявилъ ему отъ имени вашего величества прощеніе.

Государь слегка нахмурился; помолчавъ немного, съ живостью сказалъ:

— Не рано ли?!

Потомъ, еще подумавъ, прибавилъ:

— Ну, коли ужъ такъ, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина въ дорогу, выдать ему прогоны и съ соотвѣтствующимъ чиномъ и съ соблюденіемъ возможной благовидности отправить на службу на югъ!

Пушкинъ мужественно встрѣтилъ рѣшеніе своей участи. Нашлись совѣтники, предлагавшіе отправить его въ Сибирь, заточить даже въ Соловецкій монастырь. Но за поэта вступилось его начальство.

Пушкинъ, по выходѣ изъ лицея, былъ причисленъ на службу къ министерству иностранныхъ дѣлъ. Теперь его посылали въ Екатеринославъ къ генералу Инзову, попечителю колонистовъ въ южномъ краѣ. Министерство вручило Пушкину письмо къ его новому начальнику. Мы уже упоминали объ этомъ письмѣ. Здѣсь, между прочимъ, говорилось о Пушкинѣ: „нѣтъ той крайности, въ которую бы не впадалъ этотъ несчастный молодой человѣкъ; нѣтъ и того совершенства, котораго онъ не могъ бы достигнуть громаднымъ превосходствомъ своихъ дарованій“. Начальство полагало, что добрыми примѣрами изъ Пушкина можно сдѣлать прекраснаго слугу государству или, по крайней мѣрѣ,—писателя первой величины.

Въ началѣ мая 1820 года Пушкинъ выѣхалъ изъ Петербурга. Глинка напутствовалъ его стихотвореніемъ,—и напутствіе глубоко тронуло изгнанника. Онъ отозвался благодарностью, именуя поэта—*Аристидомъ*, принимая его привѣтствіе, какъ утѣшеніе въ равнодушіи другихъ.

Поэтъ ѣхалъ съ тяжелымъ чувствомъ. Позади оставались общество, друзья, всѣ радости и удовольствія столицы; впереди — почти дикій край, невѣдомое будущее, незнакомые люди. Но югъ встрѣтилъ его радушно и даже сердечно; поэту предстояло испытать множество новыхъ и глубокихъ впечатлѣній, они оживили его талантъ и дали обильную пищу его вдохновенію.

IX.

Новый начальникъ Пушкина, генералъ Инзовъ, былъ человѣкъ искренно добрый и сразу понялъ присланнаго къ нему на исправленіе грѣшника. Онъ увидѣлъ, что главная вина поэта заключалась въ слишкомъ горячей крови, умѣлъ съ первой же встрѣчи оцѣнить его благородную натуру. Прекрасно образованный и начитанный, генералъ Инзовъ понялъ и силу пушкинскаго таланта и сдѣлался истиннымъ покровителемъ и защитникомъ изгнанника. Онъ снисходительно относился къ пылкимъ выходкамъ Пушкина, но отечески остерегалъ его: — „Свернутъ тебѣ голову, Александръ Сергѣевичъ“,—говаривалъ онъ добродушно послѣ какой-нибудь исторіи, наказывалъ его домашнимъ арестомъ или давалъ порученіе, чтобы на время удалить поэта изъ города. Пушкинъ самъ засвидѣтельствовалъ, что Инзовъ его очень любилъ и, даже подвергая комнатнымъ арестамъ, присылалъ ему французскіе журналы и вообще заботился о немъ, не какъ о подчиненномъ, а какъ о близкомъ человѣкѣ.

Уже вскорѣ послѣ прибытія Пушкина въ Екатеринославъ, Инзовъ оказалъ ему очень большую услугу. Послѣ купанья въ Днѣпрѣ, Пушкинъ заболѣлъ горячкой. Въ то время черезъ городъ, по пути на Кавказъ, проѣзжалъ генералъ Раевскій съ сыномъ и двумя дѣтьми. Сына Пушкинъ зналъ въ Петербургѣ и дружилъ съ нимъ. Раевскіе поспѣшили навѣстить поэта, застали его, по разсказу самого Пушкина, въ жидовской хатѣ, въ бреду, безъ лѣкаря, за кружкою оледянѣлаго лимонада. Раевскій предложилъ ему ѣхать съ ними на Кавказъ. Инзовъ немедленно отпустилъ Пушкина, находя для него полезнымъ „безвредную разсѣянность“: „Онъ малый, право, добрый“,—писалъ Инзовъ въ Петербургъ.

Пушкинъ уѣхалъ, — и съ этого дня начинается для него

новая, поэтическая жизнь. Отъ Екатеринослава у него осталось только одно воспоминаніе, — но очень любопытное. Онъ видѣлъ, какъ изъ тюрьмы спасались два скованные разбойника, вплавь по Днѣпру. Пушкинъ впослѣдствіи воспользовался этой картиной въ своей поэмѣ *„Братья-разбойники“*. Здѣсь одинъ изъ братьевъ разсказываетъ:

„Рѣка шумѣла въ сторонѣ...
„Мы къ ней—и съ береговъ высокихъ
„Бухъ!—поплыли въ водахъ глубокихъ;
„Цѣпями общими гремимъ,
„Бьемъ волны дружными ногами“...

Пушкинъ еще во время путешествія почувствовалъ себя счастливымъ человѣкомъ. Генералъ Раевскій былъ одинъ изъ доблестныхъ героевъ русской арміи, славный участникъ Отечественной войны, но въ то же время—человѣкъ съ простымъ, добрымъ сердцемъ, съ яснымъ умомъ, всегда ласковый, снисходительный и словоохотливый разсказчикъ. Онъ помнилъ Екатерининскій вѣкъ, — и Пушкинъ заслушивался его повѣствованій. Никакими предразсудками Раевскій не страдалъ, любилъ русскую рѣчь, охотно сближался съ народомъ—и на войнѣ, и у себя въ деревнѣ, высоко цѣнилъ талантъ Пушкина; — вообще, лучшаго спутника поэтъ не могъ и желать. И вся семья Раевскихъ отличалась такими же достоинствами. Пушкинъ приходилъ въ восторгъ отъ сына генерала и его дѣтей,—и для него настали, по его словамъ, „счастливѣйшія минуты жизни“, когда онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ Раевскими на Кавказъ. И, дѣйствительно, врядъ ли когда еще Пушкину жилось и чувствовалось лучше, какъ поэту и какъ человѣку!

Прежде всего, Пушкина поразила величественная природа Кавказа, самобытная жизнь и нравы его обитателей, аулы, сакли, верблюды, дикая вольность черкесовъ. Война еще продолжалась—жестокая, но славная для русскаго оружія. Пуш-

кинъ неистощимъ въ разсказахъ о своихъ впечатлѣніяхъ. Онъ не насмотрится на горы, не наслушается музыки горныхъ потоковъ, не налюбуется на красоту лицъ и живописность наряда вольныхъ горцевъ. Поэтическая рѣчь невольно льется изъ-подъ его пера, когда онъ говоритъ о чудномъ южномъ небѣ съ милліонами звѣздъ, о величавомъ Бештау, о темной южной ночи съ черными громадами горъ. Каждая поѣздка представляла новость, вызывала раньше не испытанныя волненія, знакомила съ безконечно разнообразнымъ и яркимъ міромъ полудикой, но могучей жизни.

Семья Раевскихъ дѣлила восторги поэта. Молодой Раевскій страстно любилъ поэзію и именно ту, какая болѣе всего соотвѣтствовала грозной и мощной природѣ Кавказа. Раевскій увлекался Байрономъ,—поэтомъ сильныхъ страстей, необузданной дикой воли, пѣвцомъ одинокихъ и мрачныхъ героевъ. Байронъ каралъ презрѣніемъ мелкую, тоскливую жизнь свѣтскаго общества и искалъ утѣшенія своему таланту среди первобытныхъ людей, свободныхъ отъ всякихъ предразсудковъ и ложныхъ приличій. Байронъ воспѣвалъ свободу человѣческаго сердца, и вольнолюбиваго дикаря пустыни ставилъ неизмѣримо выше просвѣщеннаго, но малодушнаго и нравственно немощнаго обитателя городовъ.

Молодые Раевскіе зачитывались бурными стихами англійскаго поэта. Пушкинъ часто бесѣдовалъ съ Раевскимъ-сыномъ о Байронѣ, любуясь пятивершиннымъ Бештау. Онъ началъ самъ учиться по-англійски у старшей дочери Раевскаго, — и Байронъ овладѣлъ его душой. Его увлекли необыкновенно смѣлые вымыслы поэта, его безпощадное презрѣніе къ всему ничтожному и трусливому, его обожаніе неограниченно могущественныхъ героевъ, полубоговъ по силѣ своей воли и отвагѣ стремленій. А природа, люди и событія Кавказа такъ подходили къ подобной поэзіи, и Пушкинъ

сдѣлался усерднымъ читателемъ и подражателемъ Байрона. Это—самое сильное иноземное вліяніе на великаго русскаго поэта.

Оно продолжалось не долго, было чисто-юношескимъ увлеченіемъ. Натура Пушкина была слишкомъ искренна и правдива, чтобы могли долго надъ ней властвовать блестящія, но *вымышленныя*, неестественныя и нежизненныя созданія Байрона. У англійскаго поэта первое мѣсто занимало воображеніе, не знающее границъ своему полету; русскаго поэта, наоборотъ, влекла дѣйствительная жизнь, ея болѣе скромная, но глубокая и вѣчно поучительная правда. Въ виду кавказскихъ горъ, Пушкинъ могъ увлечься такъ называемыми демоническими, мрачными призраками, не имѣющими ничего общаго съ человѣческими слабостями и несчастьями; но увлеченіе скоро схлынуло, какъ временный порывъ молодого чувства, и Пушкинъ навсегда освободился отъ сверхъестественныхъ вымысловъ, какъ бы они ни были ослѣпительны и привлекательны, навсегда отдалъ свой геній будничной, родной дѣйствительности, русской исторіи и русской жизни.

Это произойдетъ очень скоро, но пока Байронъ чаруетъ и волнуетъ нашего поэта. Возникаетъ новая поэма—„*Кавказскій плѣнникъ*“. Герой напоминаетъ одинокихъ, разочарованныхъ героевъ Байрона: онъ преждевременно состарился душой, ему тяжела жизнь, онъ умеръ для счастья и надеждъ, и даже отказывается отъ любви черкешенки. Она все-таки спасаетъ краснорѣчиваго героя изъ плѣна. Все это—подражаніе байроновскимъ произведеніямъ; но Пушкинъ самъ почувствовалъ ложь красивыхъ рѣчей плѣнника, его напускной холодъ къ жизни и ея радостямъ, — и въ томъ же самомъ году, когда былъ напечатанъ „*Плѣнникъ*“,—онъ называлъ героя неудачнымъ и придавалъ значеніе только описаніямъ кавказской природы. Такъ строгъ и правдивъ былъ великій поэтъ къ своему труду,—даже когда другіе считали его образцовымъ и затвер-

живали наизусть. Такъ, именно, публика поступила съ „*Кавказскимъ пленникомъ*“. Но, четыре года спустя, Пушкинъ уже и картины природы въ своей поэмѣ считалъ плохими, сравнительно съ подлиннымъ Кавказомъ. Это — несправедливая строгость. Никто, кромѣ Лермонтова, не могъ сравняться съ Пушкинымъ въ изображеніи кавказской природы: Пушкинъ сумѣлъ въ самыхъ простыхъ стихахъ, въ свободномъ разсказѣ, передать всю своеобразную прелесть и величіе предмета.

„*Плѣнникъ*“—не единственная дань генію Байрона,—за нимъ слѣдовали „*Бахчисарайскій фонтанъ*“, „*Цыганы*“. И здѣсь—все тѣ же страдающіе, одинокіе герои, независимые, сильные. На этотъ разъ они готовы любить и любятъ; любовь творитъ чудеса съ татарскимъ ханомъ, заставляетъ его даже въ разгаръ битвы проливать слезы по возлюбленной. Публика опять пришла въ восторгъ отъ столь чувствительнаго героя, отъ такого могущества любви даже надъ сердцемъ дикаго человѣка; но самъ авторъ почти немедленно произнесъ смертный приговоръ своей поэмѣ; какъ всегда,—первый понялъ неестественность и фальшивыя краски на своемъ дѣтищѣ и откровенно сознался, что поэма навѣяна чтеніемъ Байрона.

Но Байронъ не все навѣялъ: въ поэмѣ, помимо небывалаго и смѣшного героя, имѣются перлы истинной поэзіи, и они, какъ и въ „*Плѣнникѣ*“, созданы личными впечатлѣніями автора. Талантъ Пушкина не допускалъ *сочинительства:* онъ жилъ полной жизнью, только когда воспроизводилъ настоящую жизнь, когда вдохновенію помогали память и глаза. И въ „*Бахчисарайскомъ фонтанѣ*“ описаніе крымской ночи достойно таланта Пушкина.

Послѣ двухмѣсячнаго пребыванія на Кавказѣ, Пушкинъ пріѣхалъ въ Крымъ; изъ Ѳеодосіи моремъ отправился въ Гурзуфъ, и это путешествіе привело поэта въ восторгъ. Ночью на кораблѣ онъ написалъ стихотвореніе „*Погасло дневное свѣ-*

тило". Оно дышитъ страстнымъ чувствомъ, поэтъ вспоминаетъ о пережитыхъ страданіяхъ и проситъ корабль нести его дальше отъ печальныхъ береговъ туманной родины...

И здѣсь звучитъ отголосокъ байроновскаго прощанія съ Англіей, и поэтъ свое произведеніе даже назвалъ подражаніемъ Байрону. Но это „подражаніе" исполнено искренняго

Гора Аю-Дагъ въ Гурзуфѣ.

личнаго чувства: Пушкинъ могъ пережить настроенія англійскаго поэта, покидавшаго родину съ глубокой обидой на не оцѣнившихъ его соотечественниковъ.

Пушкинъ прожилъ въ Гурзуфѣ три недѣли и наслаждался дивной южной природой. Горы полукругомъ окружаютъ Гурзуфъ, впереди—свѣтлое море и надъ нимъ—синее, блестящее

небо. Пушкинъ просыпался по ночамъ и по цѣлымъ часамъ слушалъ шумъ моря. Недалеко отъ его дома росъ молодой кипарисъ; каждое утро поэтъ ходилъ къ нему и привязался къ нему, какъ къ другу. Кипарисъ цѣлъ до сихъ поръ, превратился въ громадное дерево. Гурзуфскіе татары разсказываютъ, что къ поэту, приходившему подъ кипарисъ, прилеталъ соловей и пѣлъ вмѣстѣ съ нимъ. Съ тѣхъ поръ каждое лѣто соловей посѣщалъ это мѣсто, но поэтъ умеръ, и соловей больше не прилетаетъ.

Какъ идетъ эта трогательная исторія къ воспоминаніямъ самого поэта объ этихъ краткихъ, но незабвенныхъ дняхъ! Онъ едва намекаетъ на священную для него тайну, волновавшую его въ минуты раздумья надъ моремъ. Это—любовь къ женщинѣ, — имя ея онъ не открылъ даже друзьямъ, — любовь, полная свѣтлыхъ восхищеній, но не встрѣтившая взаимности. Поразительно музыкальными и картинными стихами поэтъ вспоминалъ потомъ о своемъ увлеченіи:

„Я помню море предъ грозою:
„Какъ я завидовалъ волнамъ,
„Бѣгущимъ бурной чередою
„Съ любовью лечь къ ея ногамъ!...
„Какъ я желалъ тогда съ волнами
„Коснуться милыхъ ногъ устами!“

Послѣ Гурзуфа поэтъ посѣтилъ Бахчисарай. Здѣсь онъ осмотрѣлъ развалины ханскаго дворца, жалкіе остатки фонтана; здѣсь ему разсказали преданіе о несчастливо влюбленномъ ханѣ,—и онъ передѣлалъ преданіе въ поэму.

Изъ Крыма, вмѣстѣ съ Раевскимъ, Пушкинъ проѣхалъ въ Кіевскую губернію, въ село Каменки, гдѣ жила мать генерала Раевскаго; встрѣтился здѣсь съ петербургскимъ знакомымъ и провелъ съ нимъ ночь въ горячей бесѣдѣ о настоящемъ и будущемъ Россіи. Онъ—влюбленный, столь восторженно воспѣвавшій море и небо,—страстно отзывался на во-

просы, волновавшіе образованное столичное общество, и радъ былъ отвести душу съ новымъ и свѣжимъ человѣкомъ. Но сама столица Пушкину была еще недоступна, и ему предстояло отправиться въ Кишиневъ, куда былъ назначенъ генералъ Инзовъ—исправлять должность намѣстника Бессарабской области.

X.

Судьба, направляя поэта въ Кишиневъ, видимо, заботилась о разнообразіи его впечатлѣній. Во всей русской имперіи врядъ ли существовалъ еще городъ, изобиловавшій такимъ смѣшаннымъ населеніемъ, такими пестрыми нравами и такими своеобразными обывателями. Бессарабія всего только восемь лѣтъ была присоединена къ Россіи. Кишиневъ оставался еще небольшимъ восточнымъ городомъ съ тѣсными кривыми улицами, грязными базарами, маленькими домиками крытыми черепицей, и со множествомъ садовъ изъ пирамидальныхъ тополей и бѣлыхъ акацій. Въ немъ можно было найти жителей едва ли не изъ всѣхъ европейскихъ и отчасти — азіатскихъ народовъ, — и русскихъ очень мало: только солдаты и чиновники. Пушкину предстояло прожить здѣсь около трехъ лѣтъ.

Какихъ только людей, обычаевъ не насмотрѣлся поэтъ, какихъ разсказовъ и пѣсенъ не наслушался! Пушкинъ обладалъ удивительною способностью—быстро сходиться съ маврoмъ, цыганомъ, грекомъ и въ то же время быть своимъ человѣкомъ среди избраннаго общества, вести бесѣду о религіи, о литературѣ, о политикѣ, изводить своимъ остроуміемъ какого-нибудь глупаго молдаванина и поражать образованнѣйшихъ людей обиліемъ знаній и основательностью сужденій.

Пищу для остроумія Кишиневъ представлялъ въ изобиліи.

Полудикіе, надменные молдаване безпрестанно раздражали поэта; чиновники, воображавшіе себя на краю Россіи важными господами, вызывали невольное презрѣніе и насмѣшку,—все это создавало множество ссоръ, недоразумѣній и, какъ водится, дуэлей. Инзовъ едва успѣвалъ разводить противниковъ, высылая Пушкина съ какимъ-нибудь порученіемъ или просто запрещая ему выходить изъ дому. Но и въ путешествіяхъ Пушкинъ находилъ возможность устроить себѣ совсѣмъ особенное развлеченіе.

Однажды, послѣ ссоры Пушкина съ нѣкіимъ юношей, Инзовъ послалъ его въ Измаилъ. Пушкинъ по пути встрѣтилъ цыганскій таборъ, присталъ къ нему и нѣсколько дней кочевалъ съ нимъ, проводилъ ночи у костровъ, на голой землѣ и подъ шатрами, слушалъ ихъ разсказы и пѣсни, присматривался къ ихъ обычаямъ и вѣрованіямъ, даже занимался ихъ языкомъ. Цыганы не дичились веселаго гостя, вѣроятно, звали его, по-просту,—Алеко, развлекали его музыкой и танцами. Все это не прошло даромъ: явилась поэма *„Цыганы“*, съ героемъ по имени Алеко, съ пѣсней цыганки и съ геніальнымъ изложеніемъ взглядовъ полудикихъ кочевниковъ на страсти и пороки просвѣщенныхъ обитателей городовъ.

Очевидно, Пушкинъ и теперь не переставалъ работать и думать. Обычай дѣлить время между бурнымъ весельемъ и упорнымъ трудомъ—не нарушался и среди кишиневскихъ приключеній, безпрестанныхъ поѣздокъ въ Кіевъ, Одессу и по всѣмъ направленіямъ. „Разнообразіе спасительно для души“, говорилъ поэтъ и успѣвалъ пространствовать съ цыганами, позабавиться на молдаванскомъ праздникѣ, воспѣть красоту гречанки или еврейки и тщательно обдумать новое поэтическое произведеніе, собрать новыя свѣдѣнія по русской исторіи, изучить жизнь Наполеона, прочитать множество книгъ съ перомъ въ рукахъ, т.-е. дѣлая выписки, набрасывая на бумагу свои замѣчанія, собирая замѣтки для будущихъ произведеній.

И какихъ только вопросовъ не касается пытливый умъ поэта!

Пушкинъ много слышалъ отъ Раевскаго о Россіи прошлаго вѣка, и онъ задумываетъ цѣлую статью о ней. У него не особенно богатый запасъ свѣдѣній, они вообще были мало доступны въ то время—именно о царствованіи Екатерины II; но Пушкинъ умѣетъ извлечь изъ этого запаса рядъ блестящихъ мыслей о прошломъ русскаго государства. Онъ стоитъ за единеніе всѣхъ сословій—дворянства и народа; онъ радуется, что высшему дворянству не удалось завладѣть высшей государственной властью: иначе участь народа, несомнѣнно, еще ухудшилась бы; отмѣна крѣпостного права стала бы еще затруднительнѣе, и простые люди лишились бы доступа къ должностямъ и почестямъ. Этого не случилось,—и Пушкинъ въ мирномъ единодушіи всѣхъ сословій русской земли видитъ единственный, вѣрный путь къ развитію Россіи наравнѣ съ просвѣщенными народами Европы.

Столь же проницательно рѣшаются и частные вопросы. Напримѣръ, Пушкинъ высказываетъ нѣсколько замѣчаній о положеніи русскаго духовенства: сужденія эти до сихъ поръ не потеряли своей силы. „Духовенство,—разсуждаетъ Пушкинъ,—бѣдно и непросвѣщенно; все это мѣшаетъ ему заниматься своими важными обязанностями, унижаетъ его въ глазахъ народа и вредитъ народному религіозному чувству“.

Ни одно современное событіе не ускользаетъ отъ вниманія поэта.

Греція возстаетъ противъ турецкаго ига,—и Пушкинъ горячо отзывается на зарю свободы. Онъ увѣренъ въ торжествѣ Греціи, онъ всей душой—за „наслѣдниковъ Гомера и Ѳемистокла“, онъ начинаетъ вести даже особыя записки о возстаніи. Событія не оправдываютъ надеждъ поэта: греческіе вожди и ихъ воины оказываются недостойными доблести своихъ великихъ предковъ,—и гнѣвъ Пушкина безпредѣленъ.

Онъ негодуетъ, что дѣло свободы пришлось защищать такимъ жалкимъ людямъ!

Но это презрѣніе не значитъ, будто сердце поэта—легкомысленно, жестоко, будто оно преклоняется только предъ успѣхомъ. Ничего подобнаго! Оно преисполнено состраданія ко всякому несчастью и паденію, ко всякому удару судьбы надъ сильнымъ несчастливцемъ. Примѣръ—Наполеонъ.

Въ лицеѣ, шестнадцатилѣтній Пушкинъ изображалъ развѣнчаннаго французскаго императора необыкновенно жестоко. Устами юноши говорили — патріотическое чувство, восторгъ предъ русскимъ царемъ и гнѣвъ на разрушителя Москвы...

Проходитъ пять лѣтъ. Наполеонъ умираетъ въ неволѣ, вѣсть доходитъ до Пушкина,—и онъ записываетъ въ своемъ дневникѣ день, когда онъ ее получилъ. Онъ и теперь отзовется на великое событіе,—но какая разница съ прежнимъ отзывомъ!

Пушкинъ успѣлъ много передумать, многое узнать, изучилъ личность Наполеона до мельчайшей черты, и все это надо вложить въ стихотвореніе. Поэтъ понимаетъ, какъ трудна и отвѣтственна задача; онъ въ теченіе пяти лѣтъ не печатаетъ своего *„Наполеона“*, исправляетъ, передѣлываетъ, и только въ 1826 году стихотвореніе появляется въ свѣтъ. И врядъ ли когда другой поэтъ сумѣлъ произнести такой благородный, такой вдумчивый судъ надъ врагомъ своего отечества!

Поэтъ нарисовалъ яркую картину безумнаго самовластія, преступнаго презрѣнія къ людямъ, ненасытнаго честолюбія и, наконецъ, безвозвратной гибели и силы, и власти. Возмездіе постигло тирана, казнь, во имя справедливости, совершилась воочію предъ всѣми народами; въ лицѣ Наполеона палъ духъ насилія надъ человѣчествомъ, пало стремленіе превратить людей въ рабовъ. И кто же броситъ камнемъ въ жертву мірового суда, въ него, вызвавшаго такое высокое воодушевленіе русскаго народа, создавшаго ей невольно такой вѣнецъ славы?

«Хвала!.. Онъ русскому народу «И міру вѣчную свободу
«Высокій жребій указалъ «Изъ мрака ссылки завѣщалъ».

Такъ же глубоко вдумывается поэтъ въ судьбу и въ душу другихъ, менѣе великихъ, но также не мало страдавшихъ, Онъ посѣщаетъ городокъ Овидіополь. Здѣсь, по преданію, томился и умеръ въ ссылкѣ римскій поэтъ Овидій. Пушкинъ, говорятъ, провелъ цѣлую ночь въ городской башнѣ и здѣсь обдумывалъ свое обращеніе къ „*Овидію*“. Онъ невольно увидѣлъ въ исторіи Овидія сходство съ своей участью. Онъ усердно сталъ вчитываться въ произведенія поэта, написанныя въ изгнаніи, онъ страстно полюбилъ жертву императора Августа и очень дорожилъ своими стихами въ память Овидія, считая ихъ выше своихъ поэмъ.

Еще дольше останавливался Пушкинъ на „властителѣ своихъ думъ“, на Байронѣ. Про этого человѣка въ толпѣ ходили такіе ужасные слухи, ему приписывалось столько пороковъ и преступленій, его рисовали какимъ-то исчадіемъ ада, человѣконенавистникомъ и безбожникомъ... Пушкинъ не можетъ помириться съ этими ужасами. Его человѣчное и чуткое сердце подсказываетъ ему оправданія и объясненія байроновскихъ увлеченій и крайностей. И опять онъ невольно припоминаетъ свое положеніе среди той же толпы большого свѣта.

Развѣ здѣсь кто-нибудь постарался дружески и внимательно всмотрѣться въ душу поэта? Развѣ кто-нибудь задалъ себѣ вопросъ: нѣтъ ли у легкомысленнаго и дерзкаго юноши другихъ задушевныхъ думъ и стремленій, помимо удовольствій и остротъ? Наконецъ, много ли нашлось готовыхъ понять и оцѣнить умъ и геній поэта? И ему, во имя личнаго достоинства, пришлось хоронить свои лучшія чувства и дорогія мысли отъ тупыхъ и кощунственныхъ взоровъ. Не то же ли самое испытывалъ и Байронъ? Не вынужденъ ли онъ былъ весьма часто надѣвать на себя личину, казаться хуже и ме-

лочнѣе, чтобы „не выставлять на позоръ толпѣ своего нравственнаго бытія“? И онъ, несомнѣнно, былъ лучше, чѣмъ казался.

Такъ разсуждалъ Пушкинъ, и врядъ ли возможно придумать болѣе человѣчный и болѣе проницательный судъ надъ чужой душой.

Скоро Пушкинъ окончательно оцѣнитъ и поэзію Байрона. Послѣдней богатой данью англійскому поэту будутъ „*Цыганы*“. Замыселъ поэмы — чужой: еще до Байрона многіе европейскіе поэты любили изображать рядомъ человѣка просвѣщеннаго и сына природы. Сравненіе всегда оказывалось въ пользу дикаря: только онъ понималъ истинную свободу, истинную любовь и состраданіе къ людямъ; — а пришлецъ изъ городовъ являлся себялюбцемъ и рабомъ своихъ страстей. Такъ это выходитъ и у Пушкина. Но изъ чужого замысла получается вѣрная и жизненная истина. Она показываетъ перемѣну въ прежнихъ молодыхъ понятіяхъ Пушкина о разочарованныхъ, преждевременно отжившихъ юношахъ. Алеко—одинъ изъ такихъ—уже вовсе не герой, и не вызываетъ въ насъ никакого сочувствія: ему просто надоѣли городскія удовольствія, и онъ ищетъ новыхъ, еще не испытанныхъ,—въ цыганскомъ таборѣ. И ради своихъ удовольствій онъ готовъ разрушить чужое счастье, отнять чужую свободу.

„Ты для себя лишь хочешь воли“,—

говоритъ цыганъ Алеко и проситъ его оставить ихъ таборъ.

Это—рѣшительный приговоръ блестящимъ героямъ,—приговоръ въ пользу простоты и человѣчности. И Пушкинъ легко теперь оцѣнитъ и всю поэзію Байрона. Это былъ молодой, могучій крикъ,—естественный въ молодости, но недостаточный для всей жизни человѣка. Жизнь требуетъ постепеннаго и непрестаннаго развитія нравственныхъ силъ,

нельзя вдругъ пропѣть какую угодно увлекательную пѣсню и замолчать, — необходимо изо дня въ день думать и дѣйствовать.

Такъ именно поступалъ Пушкинъ, не переставая работать надъ своимъ образованіемъ. Въ немъ жило два человѣка, и часто ихъ двойственность можно было наблюдать одновременно. Предъ нами—разсказъ очевидца, узнавшаго Пушкина въ первое время его пребыванія въ Кишиневѣ,—разсказъ въ высшей степени любопытный. Онъ показываетъ, сколько лживыхъ и разнообразныхъ сужденій могъ вызвать этотъ необыкновенный человѣкъ у людей поверхностныхъ или злобныхъ.

Дѣло происходило въ театрѣ.—„Въ числѣ многихъ,—повѣствуетъ разсказчикъ,—особенно обратилъ мое вниманіе вошедшій молодой человѣкъ, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, съ быстрымъ и наблюдательнымъ взоромъ, необыкновенно живой въ своихъ пріемахъ, часто смѣющійся въ избыткѣ непринужденной веселости, и вдругъ неожиданно переходящій къ думѣ, возбуждающей участіе. Черты лица его были неправильны и некрасивы, но выраженіе думы до того было увлекательно, что невольно хотѣлось бы спросить:—что съ тобой,—какая грусть мрачитъ твою душу?..“ Послѣ перваго акта какой-то драмы, весьма дурно игранной, Пушкинъ подошелъ къ разсказчику и его знакомому; начался разговоръ объ игрѣ актеровъ, ее находили плохой. Пушкинъ вспомнилъ о петербургскомъ театрѣ и невольно задумался.—„Въ этомъ расположеніи духа,—продолжаетъ разсказчикъ,—онъ отошелъ отъ насъ и, пробираясь между стульевъ со всею ловкостью и изысканною вѣжливостью свѣтскаго человѣка, остановился передъ какою-то дамою... мрачность его исчезла; ее смѣнилъ смѣхъ, соединенный съ непрерывной рѣчью... Пушкинъ безпрерывно краснѣлъ и смѣялся; прекрасные его зубы выказывались во всемъ своемъ блескѣ, улыбка не угасала“.

Эта смѣна веселья и задумчивости, радости и печали отличала Пушкина еще въ ранней молодости,—и думы, и грусть принадлежали ему, какъ поэту, какъ одинокому мыслителю. Свѣтъ и шумное общество не удовлетворяли ни его ума, ни его сердца. Ему становилось холодно и неуютно въ самый разгаръ веселья, пробуждалась жажда тихаго труда и размышленій, онъ искалъ, уединенія, окружалъ себя книгами и старался возмѣстить усиленной работой растраченное время—

„И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ".

Самъ Пушкинъ безпрестанно говоритъ объ этой смѣнѣ настроеній. Онъ лучше всѣхъ понималъ двойственность своей природы, искренно и откровенно сознавался въ слабостяхъ и часто опрометчивыхъ увлеченіяхъ *человѣка*, но также гордо, съ полнымъ сознаніемъ достоинства, указывалъ на свою нравственную силу *поэта*, на свое законное равнодушіе *генія* къ людской молвѣ и забавамъ міра.

Можетъ-быть, для Пушкина было бы почетнѣе и спокойнѣе—всю жизнь оставаться только поэтомъ, приносить священныя жертвы своему вдохновенію и не унижаться до суеты ничтожнаго свѣта. Но тогда предъ нами явился бы совсѣмъ другой человѣкъ, не столь близкій нашему сочувствію, не столь родственный намъ своими человѣческими страданіями, не столь глубоко изучившій на самомъ себѣ человѣческія страсти и слабости. Тогда Пушкинъ не былъ бы такимъ великимъ сердцевѣдцемъ и безсмертнымъ живописцемъ русскаго общества, не стоялъ бы во главѣ русскихъ, истинно народныхъ писателей. Только ближайшее знакомство со всѣми мелочами и темными сторонами русской жизни могло исцѣлить Пушкина отъ беззавѣтнаго увлеченія чужой поэзіей, отъ обожанія байроновскихъ героевъ. Только житейскій опытъ могъ направить вдохновеніе Пушкина на рус-

скую дѣйствительность, на русскихъ обыкновенныхъ людей. И уже въ Кишиневѣ совершается этотъ поворотъ: въ маѣ 1823 года Пушкинъ начинаетъ *„Евгенія Онѣгина“*. И въ этомъ романѣ долженъ явиться подлинный современный русскій человѣкъ—со всѣми жалкими и смѣшными чертами,—отнюдь не герой въ духѣ плѣнника и крымскаго хана, а заурядный петербургскій обыватель, вовсе не блестящій и не могучій, но зато вполнѣ правдивый, взятый изъ будничной русской жизни.

Къ такой цѣли шелъ Пушкинъ, одновременно изучая людей и усвоивая современное просвѣщеніе. Самъ поэтъ отлично сознавалъ свой путь и зналъ цѣну своей работѣ. Но кругомъ него — развѣ только на рѣдкость умные и вдумчивые люди могли проникнуть въ его тайну, за легкомысленнымъ остроумцемъ разглядѣть великую умственную силу и чернорабочаго мысли. Никто не могъ и вообразить, сколько труда полагалъ Пушкинъ на свои произведенія. Стихи Пушкина выходили такими свободными, крылатыми, что, казалось, ихъ можно было написать только однимъ взмахомъ пера. Цѣлыя поэмы и остроты счастливцу давались даромъ: такъ думалъ свѣтъ, не подозрѣвая длинныхъ часовъ упорной работы поэта надъ каждой строчкой, надъ каждой подробностью, чуть не надъ каждой риѳмой. Одинъ изъ умнѣйшихъ современниковъ Пушкина, извѣстный писатель, князь Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій, говорилъ о Пушкинѣ: — „Онъ поэтъ въ стихахъ, и бенедиктинецъ—въ своемъ кабинетѣ“, т.-е. неутомимый, кропотливый работникъ. Такимъ Пушкинъ былъ и въ самомъ началѣ своей славы, такимъ онъ оставался и на югѣ, среди всѣхъ шумныхъ исторій и бурныхъ увлеченій.

Генералъ Инзовъ понималъ своего подчиненнаго, и Пушкинъ, подъ его начальствомъ, не могъ опасаться оскорбленій и серьезныхъ затрудненій по службѣ. Но положеніе поэта круто измѣнилось, когда онъ получилъ новаго начальника

въ лицѣ графа Воронцова, новаго бессарабскаго намѣстника. Онъ переѣхалъ въ Одессу, напутствуемый сожалѣніемъ генерала Инзова, сначала, было, возрадовался шумной жизни большого города, но вскорѣ дошелъ до полнаго отчаянія и хотѣлъ бѣжать не только изъ Одессы, но и вообще изъ Россіи.

XI.

Личныя дѣла Пушкина не были блестящи и въ Кишиневѣ. Онъ вѣчно и сильно нуждался въ деньгахъ, даже въ приличной одеждѣ. Отецъ скупился до послѣдней степени, считалъ копейки, истраченныя на сына, и крайне неохотно помогалъ ему. Александръ Сергѣевичъ писалъ брату отчаянныя жалобы; генералъ Инзовъ съ своей стороны хлопоталъ у начальства. Пушкина уже знала вся Россія, какъ геніальнаго поэта,—и ему оставалось извлекать средства изъ своихъ произведеній. Но это было не легко. Произведенія не всегда попадали въ печать, а потомъ чиновники и аристократы смотрѣли презрительно и насмѣшливо на человѣка, зарабатывающаго деньги стихами. Пушкину приходилось защищать свое достоинство, какъ писателя, громко называть свои занятія литературой—ремесломъ и средствомъ къ существованію. Въ то время такое заявленіе было великимъ мужествомъ, и легко представить, сколько Пушкину приходилось вынести кровныхъ обидъ, сколько разъ горѣло гнѣвомъ его гордое, неуступчивое сердце! Какой-нибудь канцеляристъ, чиномъ его выше, или бездарный, ограниченный барчукъ, сынокъ щедраго папаши—считали себя въ правѣ пренебрежительно смотрѣть на нищаго и писателя. И, на великое горе Пушкина, этихъ взглядовъ держался и графъ Воронцовъ.

Для него великій поэтъ былъ просто коллежскій секретарь, притомъ еще очень безпокойный и подозрительно-благороднаго происхожденія: графъ—вельможа, а Пушкинъ—потомокъ ка-

кого-то негритенка. И графъ не считалъ нужнымъ уважать въ своемъ подчиненномъ — человѣка и поэта; кромѣ того, русская литература его вовсе не занимала: онъ увлекался всѣмъ англійскимъ, держалъ себя на манеръ англійскаго лорда и, между прочимъ, считалъ нужнымъ ненавидѣть Байрона, какъ отверженца англійскаго аристократическаго общества.

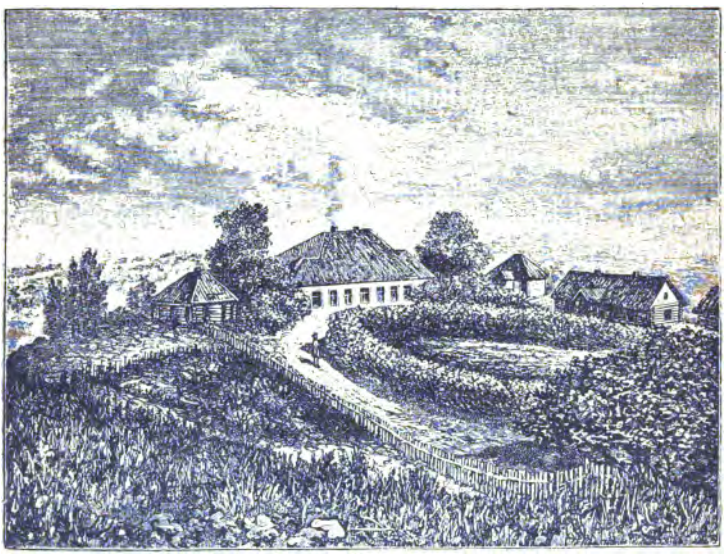
Пушкинъ на каждомъ шагу чувствовалъ оскорбительное отношеніе начальника; вскорѣ сталъ видѣть обиду даже тамъ, гдѣ, можетъ-быть, Воронцовъ и не помышлялъ его обидѣть. Графъ, напримѣръ, послалъ его на борьбу съ саранчей. Пушкинъ принялъ это порученіе за оскорбленіе и, говорятъ, донесъ начальству слѣдующее:

«Саранча
«Летѣла, летѣла
«И сѣла;
«Сидѣла, сидѣла,
«Все съѣла
«И улетѣла».

Не останавливался поэтъ и предъ личными насмѣшками надъ слабостью русскаго сановника—корчить изъ себя англійскаго лорда. Не были пощажены и ближайшіе сослуживцы графа. Все время Пушкинъ чувствовалъ себя или угнетеннымъ, или раздраженнымъ. Ему становилось душно, онъ часто впадалъ въ ожесточеніе на свою судьбу и на ненавистныхъ ему людей; въ обществѣ графа упорно молчалъ и старался поскорѣе уйти и отвести душу съ какимъ-нибудь вѣрнымъ человѣкомъ. Пользовался онъ такимъ случаемъ и въ письмахъ. Еще раньше, утомленный дикостью и пошлостью кишиневской жизни, онъ писалъ:—„у насъ молдаванно и тошно“,—и жаловался на тоску въ чужой сторонѣ. Однажды онъ даже написалъ брату чрезвычайно мрачное посланіе, убѣждалъ его, вообще, не довѣрять людямъ, крайне осторожно сходиться съ ними, не принимать отъ нихъ благодѣяній. Поэтъ говорилъ, что всѣ эти правила—плодъ его горькихъ

житейскихъ опытовъ, — и онъ былъ во многомъ правъ; но весь духъ письма противорѣчилъ врожденной незлобивости и простодушной добротѣ Пушкина. Очевидно, письмо сочинялось въ одну изъ тяжелыхъ минутъ.

Теперь такія минуты почти не прерывались. Пушкинъ становился неузнаваемымъ. Онъ выходилъ изъ себя при одной мысли, что долженъ подчиняться хорошему или дурному



Господская усадьба въ селѣ Михайловскомъ, гдѣ жилъ А. С. Пушкинъ.

пищеваренью того или другого начальника. Онъ терялъ всякую сдержанность, видя, какъ съ нимъ—уже прославленнымъ поэтомъ, — на его же родинѣ, — обращаются менѣе уважительно, нежели „съ любымъ англійскимъ балбесомъ“: „Ничего утѣшительнаго не видѣлъ Пушкинъ“ и отъ отца, по-прежнему равнодушнаго и холоднаго. Все это скоплялось и отравляло душу поэта. Желчныя насмѣшки посыпались градомъ,

въ письмахъ онъ давалъ полный просторъ своему гнѣву на свою участь и въ одномъ изъ нихъ готовъ былъ объявить себя даже человѣкомъ невѣрующимъ...

Воронцовъ отнюдь не склоненъ былъ терпѣть выходки поэта; не дремали и его враги. Графъ просилъ взять отъ него Пушкина; врагамъ этого казалось мало: Пушкина исключили изъ службы, приказали ѣхать на житье въ Михайловское и даже по пути нигдѣ не останавливаться.

Въ теченіе десяти дней Пушкинъ проскакалъ болѣе 1600 верстъ и 9 августа 1824 года явился въ родную семью.

«И былъ печаленъ мой пріѣздъ»,—

писалъ онъ потомъ;—на самомъ дѣлѣ,—болѣе, чѣмъ печаленъ. За поведеніемъ Пушкина было поручено наблюдать нѣсколькимъ лицамъ—губернатору, предводителю дворянства, архимандриту сосѣдняго Святогорскаго монастыря и даже отцу поэта. И именно отцовскій надзоръ оказался самымъ тяжелымъ.

Сергѣй Львовичъ никогда не отличался добрыми чувствами къ сыну; теперь онъ перепугался за себя и за семью, приказалъ сыну и дочери избѣгать ихъ брата. Мать поэта также не изъявила удовольствія при свиданіи съ сыномъ; только няня привѣтствовала его радостными слезами. Отецъ даже набросился на сына съ упреками, обозвалъ его чудовищемъ при братѣ и сестрѣ. Александръ Сергѣевичъ рѣшается защищать себя, но даже одной попыткой доводитъ отца до безумнаго гнѣва. Онъ начинаетъ кричать, что сынъ билъ его, потомъ—что хотѣлъ бить. Страшный слухъ разносится по сосѣдямъ; Пушкинъ приходитъ въ ужасъ: слухъ можетъ дойти до Петербурга, — и тогда преступнаго сына не пощадятъ. Пушкинъ пишетъ письмо Жуковскому, умоляетъ спасти его. Жуковскій улаживаетъ дѣло; и Сергѣй Львовичъ изумлялся, какъ его сынъ могъ оправдываться:—„Дуракъ! Да я бы свя-

зать его велѣлъ!"—На вопросъ, зачѣмъ же онъ,—отецъ,—обвинялъ сына въ такомъ злодѣяніи?—Сергѣй Львовичъ съ свойственной ему беззаботностью отвѣчалъ:

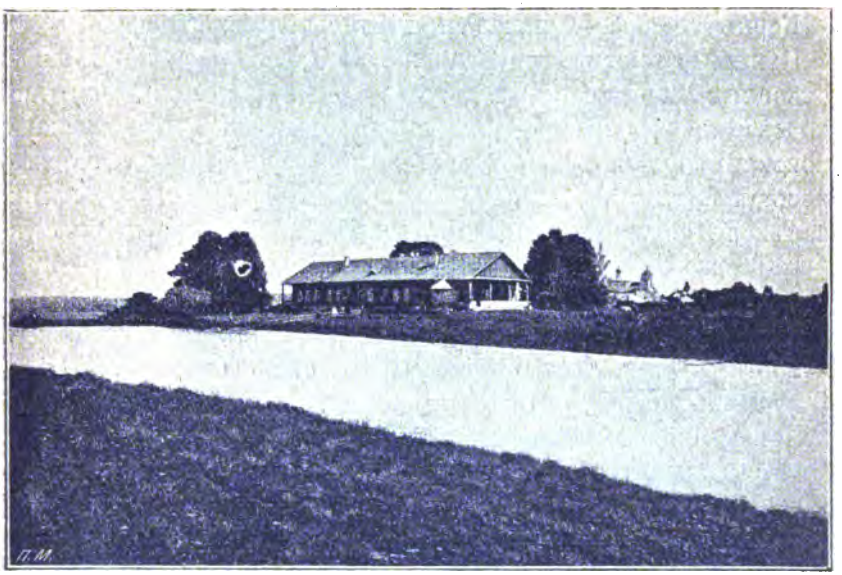
— Да какъ онъ осмѣлился, говоря съ отцомъ, непристойно размахивать руками? Это дѣло десятое. Да, онъ *убилъ* отца *словами!*..

Сергѣй Львовичъ острилъ, а сынъ готовъ былъ просить власти чтобы его перевели хотя бы въ крѣпость изъ-подъ родительскаго надзора. Наконецъ, отецъ отказался отъ своей опеки надъ сыномъ; вскорѣ вся семья уѣхала въ Петербургъ, и поэтъ остался одинъ съ няней. Стояла осень,—самое любимое Пушкинымъ время для работы,—и работа началась. Поэту предстояло прожить въ Михайловскомъ больше двухъ лѣтъ. Друзья считали эту жизнь гибелью для пушкинскаго таланта, опасались, что поэтъ навсегда будетъ потерянъ для своей родины. Ничего подобнаго не случилось.

Прежде всего Пушкинъ находитъ добрыхъ сосѣдей, образованную семью Прасковьи Александровны Осиповой, владѣлицы села Тригорскаго. Семья Осиповой, сорокачетырехлѣтней вдовы, состояла изъ сына и пяти дочерей. Мать и дочери жили круглый годъ въ деревнѣ; сынъ-студентъ—веселый, умный, великій поклонникъ поэта, дѣвицы—увлекательныя собесѣдницы, одна—прекрасная музыкантша, и вдобавокъ превосходный садъ, живописныя окрестности Тригорскаго—все это согрѣло и освѣтило уединеніе Пушкина. Онъ превратился въ постояннаго гостя Тригорскаго, приходилъ пѣшкомъ почти ежедневно, сочинялъ стихи въ честь барышень, читалъ имъ свои произведенія, безъ конца странствовалъ по берегамъ Сороти.

На слѣдующее лѣто въ Тригорское пріѣхала племянница Осиповой,—Анна Петровна Кернъ. Поэтъ встрѣчалъ ее еще въ Петербургѣ, тогда же былъ пораженъ ея красотой; но красавица не успѣла замѣтить юнаго поэта. Теперь имя Пуш-

кина стало славнѣйшимъ поэтическимъ именемъ въ Россіи; столько лѣтъ онъ провелъ въ изгнаніи, столько разсказовъ ходило о немъ въ столицѣ, и всюду, гдѣ только была доступна поэзія,—теперь нельзя было проглядѣть поэта, и Кернъ, жена стараго генерала, встрѣтила отшельника съ большой радостью.



Тригорское.

Пушкинъ, по обыкновенію, явился въ Тригорское съ двумя громадными собаками, толстой палкой, низко поклонился и, по словамъ Кернъ, оробѣлъ. Бесѣда не клеилась, и петербургская гостья также не находилась, о чемъ заговорить съ поэтомъ. Но вскорѣ робость и неловкость у поэта прошли, съ каждымъ посѣщеніемъ онъ становился оживленнѣе, остроумнѣе, и,—разсказываетъ Кернъ,—ничто не могло сравниться съ блескомъ и увлекательностью его рѣчи. Однажды онъ

явился съ „*Цыганами*“ и самъ вызвался прочитать поэму. Музыкальный, пѣвучій голосъ, чудные стихи—очаровали слушательницъ. Пушкинъ, видимо, увлекался г-жой Кернъ, наслаждался ея пѣніемъ, при ея отъѣздѣ написалъ ей восторженные стихи. Онъ называлъ ее геніемъ чистой красоты, приписывалъ ей пробужденіе своей души, своего вдохновенія, своей жизни.

Кернъ уѣхала,—и началась дѣятельная переписка.

Пушкину теперь его уединеніе казалось совершенно опустѣвшимъ, невыносимо тягостнымъ, и, вѣроятно, это чувство подсказало ему мысль—какъ-нибудь вырваться изъ Михайловскаго. Желаніе ни къ чему не привело, и поэту оставалось утѣшаться перепиской съ г-жой Кернъ и съ друзьями: велъ онъ ее чрезвычайно дѣятельно,—и особенно письма къ г-жѣ Кернъ полны жалобъ на одиночество, приглашеній—пріѣхать въ Михайловское. Но переписка далеко не поглощала времени поэта, и тоска нисколько не мѣшала его работѣ;—напротивъ, одиночество, повидимому, еще больше располагало Пушкина къ чтенію и къ творчеству.

Пребываніе въ Михайловскомъ—самое дѣятельное время во всей жизни Пушкина и самое важное въ его духовномъ развитіи. Его письма къ друзьямъ безпрестанно начинаются и кончаются воплемъ:—„книгъ, ради Бога, книгъ!“ Поэтъ прочитываетъ ихъ въ громадномъ количествѣ, ежедневно до поздняго обѣда сидитъ за чтеніемъ и записками, по вечерамъ не забываетъ, конечно, слушать сказки няни и всѣмъ этимъ,—говоритъ онъ,—вознаграждаетъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Пушкина занимаютъ самые разнообразные вопросы. Онъ читаетъ Библію, коранъ, французскихъ и англійскихъ поэтовъ, нѣмецкихъ критиковъ, даже воспоминанія разныхъ историческихъ дѣятелей,—между прочимъ, записки спутниковъ Наполеона о пребываніи его на островѣ св. Елены. И, по обыкновенію, чтеніе сопровождается горячей ум-

ственной работой, иная строка въ письмахъ Пушкина стоитъ цѣлаго разсужденія: такъ глубоко и вѣрно понимаетъ онъ людей и событія! Какъ, напримѣръ, мѣтко онъ оцѣниваетъ разговоры Наполеона въ изгнаніи! Все—ложь и самохвальство въ отзывахъ и разсказахъ развѣнчаннаго императора,—часто дѣтская ложь. И всѣ эти записки Пушкинъ называетъ романомъ: лучше оцѣнить ихъ нельзя и въ настоящее время.

Но все это, сравнительно, междудѣлье, и Пушкинъ усерднѣе всего углубляется въ русскую старину, въ народную поэзію, собираетъ пѣсни, изучаетъ народную рѣчь,—для этого даже иногда переодѣвается мѣщаниномъ;—вчитывается въ русскую исторію, въ лѣтописи, т.-е. превращается въ настоящаго ученаго труженика. Одновременно умомъ поэта овладѣваетъ великій англійскій драматургъ Шекспиръ. Пушкинъ находитъ въ немъ именно то, чего издавна ищетъ его геній, чѣмъ теперь поглощена вся его поэтическая природа. Шекспиръ—*народный поэтъ*. Вся его сила, всѣ достоинства его произведеній, всѣ его чувства и мысли—принадлежатъ англійскому народу. И поэтому онъ такъ могучъ: Пушкинъ, по его словамъ, не могъ опомниться, читая Шекспира. Особенно поразили русскаго поэта драмы изъ англійской исторіи, яркія личности изъ далекаго прошлаго, воскрешенныя Шекспиромъ, необыкновенное разнообразіе, богатство и глубина характеровъ и событій, воспроизведенныхъ поэтомъ. Какъ бѣденъ теперь показался Пушкину Байронъ, умѣвшій рисовать только самого себя, какъ утомительно однообразны французскія трагедіи, сочиненныя для тепличнаго аристократическаго общества, переполненныя напыщенными разговорами и лишенныя жизни и дѣйствія!

И Пушкинъ задумываетъ создать русскую историческую драму, вывести на сцену подлинныхъ русскихъ людей, а для этого изучить родную старину по лѣтописямъ, русскую народную душу—по русскимъ преданіямъ, сказкамъ и пѣснямъ,

а событія—по сочиненію Карамзина. Это—единственная исторія Россіи, и поэтъ изучаетъ книгу съ величайшимъ вниманіемъ, страница за страницей, готовится къ своему труду, какъ никогда еще не готовился ни одинъ русскій писатель.

Одновременно идутъ другія работы: доканчиваются *„Цыганы“*, продолжается *„Евгеній Онѣгинъ“*, сочиняется веселая остроумная поэма *„Графъ Нулинъ“*, печатаются статьи въ журналѣ, и возникаютъ замѣчательнѣйшія стихотворенія — настоящая авторская и гражданская исповѣдь Пушкина — *„Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“* и *„Посланія цензору“*.

XII.

Поэтъ быстро совершенствовался и все глубже проникался своимъ поэтическимъ призваніемъ. „Я чувствую, — писалъ онъ, — что духъ мой вполнѣ развился, я могу творить“, — и онъ рѣшилъ высказать свой взглядъ на трудъ и талантъ поэта. Какъ поверхностно и оскорбительно понимаютъ все это иные писатели!

«Стишки для васъ—одна забава!»—

говоритъ поэту книгопродавецъ. Стоитъ присѣсть, воспѣть какую-нибудь красавицу, — и поэту готовы деньги и слава. Поэтъ понимаетъ, какъ могло составиться подобное мнѣніе, и горько раскаивается въ былой растратѣ своего вдохновенія ради вѣтренныхъ женскихъ душъ. Онъ говоритъ:

«Когда на память мнѣ невольно «Я содрогаюсь, сердцу больно,
«Придетъ внушенный ими стихъ,— «Мнѣ стыдно идоловъ моихъ»...

Теперь это не повторится,—и въ посланіи къ цензору поэтъ негодуетъ на бредни вралей, которымъ досугъ пѣть рощи да поля, сочинять басенки, куплеты и воспѣвать любви невинныя мечты. Назначеніе поэта—быть мыслителемъ, и онъ долженъ вѣчно помнить, что

„На поприщѣ ума нельзя намъ отступать“.

И Пушкинъ, прежде всего, на самомъ себѣ оправдываетъ свой взглядъ. Трудно представить, сколько труда полагаетъ онъ на свою драму. Онъ остановился на смутномъ времени русской исторіи и задалъ себѣ задачу, раньше никому и въ голову не приходившую. Онъ желалъ вызвать предъ читателями и зрителями московскую старину во всей ея подлинной правдѣ, желалъ изобразить историческими чертами героевъ и народъ далекаго прошлаго. Онъ безпощадно передѣлывалъ написанное, вычеркивалъ цѣлыя сцены, и, наконецъ, остался доволенъ своимъ произведеніемъ.—„Я перечелъ его вслухъ одинъ“,—разсказывалъ поэтъ,—билъ въ ладоши и кричалъ—ай-да Пушкинъ!“

Но онъ знаетъ, что публика *ниже* его замысла: она не пойметъ такой необычно-простой драмы, не помирится съ тѣмъ, что на сценѣ нѣтъ необыкновенныхъ героевъ, небывалыхъ, потрясающихъ происшествій, а только—простая жизненная правда и живые люди. И Пушкинъ, въ теченіе шести лѣтъ, не печатаетъ своей драмы, читаетъ ее только близкимъ знакомымъ и друзьямъ.

Но только немногіе могли понять убѣжденіе Пушкина: поэтъ не долженъ подчиняться никакимъ указкамъ и правиламъ, кромѣ своего чувства и разума. Поэтъ свободенъ и можетъ выбрать какой угодно будничный и простой предметъ для своего произведенія. Пушкинъ мало цѣнилъ сужденія ученыхъ критиковъ, незнавшихъ жизни, и съ удовольствіемъ читалъ свои стихи нянѣ. Такъ же свободно и просто отнесся Пушкинъ и къ чужому великому произведенію, недавно возникшему,—къ комедіи Грибоѣдова „*Горе отъ ума*“.

Комедію ему привезъ Пущинъ. Онъ навѣстилъ поэта въ Михайловскомъ, провелъ съ нимъ нѣсколько часовъ, въ горячей бесѣдѣ. Пушкинъ читалъ ему свои новые стихи, разспрашивалъ подробно о каждомъ лицейскомъ товарищѣ,—и няня слушала ихъ бесѣду, угощала ихъ и была внѣ себя отъ радости, что ея питомца навѣстилъ другъ.

Пущинъ въ гостяхъ у Пушкина въ Михайловскомъ. Съ картины *Ге*.

Пушкинъ отблагодарилъ потомъ Пущина прочувствованнымъ стихотвореніемъ, называя Пущина:

„Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!..“

Но ни посѣщенія друзей, ни друзья изъ Тригорскаго, ни усерднѣйшая работа — не могли окончательно примирить поэта съ уединеніемъ въ глухомъ захолустьи. Мысль о возвращеніи въ столицу не покидала его. Онъ рѣшилъ сдѣлать рѣшительную попытку узнавъ о смерти Александра I и восшествіи на престолъ новаго государя. Онъ послалъ прошеніе царю о дозволеніи уѣхать изъ Михайловскаго въ одну изъ столицъ или за границу, одновременно просилъ и Жуковскаго походатайствовать. Просьба была удовлетворена. Пушкинъ былъ возвращенъ сначала въ Москву,—и вотъ какъ объ этомъ разсказываетъ Осипова.

Лѣто 1826 года подходило къ концу. Перваго или второго сентября Пушкинъ былъ въ Тригорскомъ; погода стояла прекрасная, и весь день поэтъ провелъ въ прогулкахъ съ семействомъ Осиповой; уѣхалъ въ Михайловское часу въ одиннадцатомъ.

„Вдругъ рано на разсвѣтѣ,—продолжаетъ Осипова,—является къ намъ Арина Родіоновна, няня Пушкина... Это была старушка чрезвычайно почтенная, лицомъ полная, вся сѣдая, страстно любившая своего питомца... Бывала она у насъ въ Тригорскомъ часто, и впослѣдствіи у насъ же составлялись тѣ письма, которыя она посылала своему питомцу. На этотъ разъ она прибѣжала вся запыхавшаяся; сѣдые волосы ея безпорядочными космами спадали на лицо и плечи; бѣдная няня плакала навзрыдъ. Изъ разспросовъ ея оказалось, что вчера вечеромъ, незадолго до прихода Александра Сергѣевича, въ Михайловское прискакалъ какой-то — не то офицеръ, не то солдатъ. Онъ объявилъ Пушкину повелѣніе немедленно ѣхать съ нимъ въ Москву. Пушкинъ успѣлъ только взять

деньги, накинуть шинель, — и черезъ полчаса его уже не было.

— Что жъ, взялъ этотъ офицеръ какія-нибудь бумаги съ собой?—спрашивали мы няню.

— Нѣтъ, родныя, никакихъ бумагъ не взялъ и ничего въ домѣ не ворошилъ.

Фельдъегерь везъ Пушкина по повелѣнію государя, пріѣхавшаго въ Москву короноваться; онъ настолько успокоилъ поэта, что тотъ дорогою былъ очень веселъ и шутливъ,— шутливъ до шаловливости. Въ Псковѣ, во время перекладки лошадей, онъ попросилъ закусить въ тамошней харчевнѣ. Подали щей съ неизбѣжною приправою русской народной кухни,—съ тараканами. Преодолѣвъ брезгливость, Пушкинъ хлебнулъ нѣсколько ложекъ и, уѣзжая, оставилъ — углемъ или мѣломъ на дверяхъ (по другимъ свѣдѣніямъ, нацарапалъ перстнемъ на оконномъ стеклѣ) четверостишіе на псковскаго губернатора, Адеркаса, не жаловавшаго опальнаго поэта:

«Господинъ фонъ-Адеркасъ,
«Худо кормите вы насъ:
«Вы такой же ресторатоpъ,
«Какъ великій губернаторъ!»

Фельдъегерь доставилъ Пушкина прямо въ Кремль. Всего покрытаго грязью, его ввели въ кабинетъ царя. Государь милостиво привѣтствовалъ поэта, долго говорилъ съ нимъ, обѣщалъ ему лично читать его новыя произведенія и допускать къ печати. Говорятъ, Пушкинъ и на этомъ свиданіи остался поэтомъ. Ободренный снисходительностью государя, онъ становился все свободнѣе въ разговорѣ, наконецъ, незамѣтно для самого себя, оперся на столъ, который стоялъ позади его, и почти сѣлъ на этотъ столъ. Государь быстро отвернулся отъ Пушкина и потомъ говорилъ:—„Съ поэтомъ нельзя быть милостивымъ“. Но если эта забывчивость и произошла дѣйствительно,—она нисколько не повредила Пушкину.

Въ тотъ же день вечеромъ на балу государь обратился къ одному изъ вельможъ съ слѣдующими словами:

— Знаешь, что я нынче долго говорилъ съ умнѣйшимъ человѣкомъ въ Россіи?—и назвалъ Пушкина.

Вѣсть о пріѣздѣ поэта мгновенно распространилась по Москвѣ и привела въ несказанное волненіе все образованное общество. Даже дѣти пришли въ крайнее безпокойство при слухѣ, что они могутъ увидѣть автора *„Плѣнника“* и множества другихъ давно затверженныхъ ими стиховъ. Ученые, писатели, аристократы наперерывъ стремились встрѣтить поэта, только что обласканнаго царемъ, жаждали отъ него самого услышать какое-нибудь новое произведеніе, особенно—*„Бориса Годунова“*. Слухи о драмѣ давно проникли въ Москву, всѣ ждали чего-то необыкновеннаго; и Пушкинъ, наконецъ, согласился прочитать драму въ кругу московскихъ профессоровъ и писателей.

Въ назначенный день собрались слушатели. Все это были люди весьма почтенные, многіе—очень извѣстные. Воспитались они на старой литературѣ, на стихахъ Ломоносова, Державина и привыкли читать эти стихи торжественно, почти нараспѣвъ; поэта они привыкли представлять вдохновеннымъ жрецомъ—важнымъ, напыщеннымъ, перестающимъ говорить и дѣйствовать по-человѣчески, лишь только дѣло заходило о поэзіи.

И вдругъ нѣчто совершенно невообразимое!

Въ гостиную входитъ не великій жрецъ, а средняго роста человѣкъ, подвижной, съ длинными, курчавыми волосами, безъ всякихъ притязаній, съ живыми, быстрыми глазами, съ тихимъ, пріятнымъ голосомъ, въ черномъ сюртукѣ, въ черномъ жилетѣ, застегнутомъ наглухо, въ небрежно повязанномъ галстукѣ. Вмѣсто высокопарнаго языка боговъ, раздается простая, ясная, обыкновенная, но поразительно увлекательная рѣчь!

Первыя явленія публика выслушиваетъ спокойно, даже въ какомъ-то недоумѣніи. Но чѣмъ дальше, тѣмъ впечатлѣнія усиливаются. Сцена лѣтописца съ Григоріемъ всѣхъ ошеломляетъ.—„Мнѣ, показалось,—разсказываетъ ученый историкъ Погодинъ,—что мой родной и любезный Несторъ поднялся изъ могилы и говоритъ устами Пимена; мнѣ послышался живой голосъ русскаго древняго лѣтописателя. А когда Пушкинъ дошелъ до разсказа Пимена о посѣщеніи Кириллова монастыря Іоанномъ Грознымъ, о молитвѣ иноковъ: „да ниспошлетъ Господь покой его душѣ, страдающей и бурной“,—мы просто всѣ какъ-будто обезпамятѣли. Кого бросало въ жаръ, кого въ ознобъ. Волосы поднимались дыбомъ. Не стало силъ воздерживаться. Кто вдругъ вскочитъ съ мѣста, кто вскрикнетъ... то молчаніе, то взрывъ восклицаній, напримѣръ, при стихахъ самозванца:

«Тѣнь Грознаго меня усыновила, «Вокругъ меня народы возмутила
«Димитріемъ изъ гроба нарекла, «И въ жертву мнѣ Бориса обрекла!»

„Кончилось чтеніе. Мы смотрѣли другъ на друга долго и потомъ бросились къ Пушкину. Начались объятія, поднялся шумъ, раздался смѣхъ, полились слезы и поздравленія.

Явилось шампанское. Пушкинъ воодушевился. Его самого охватило волненіе его слушателей. Онъ началъ читать пѣсни о Стенькѣ Разинѣ, какъ онъ выплывалъ ночью по Волгѣ на востроносой своей лодкѣ, предисловіе къ *„Руслану и Людмилѣ“*, написанное позже самой поэмы,—эти неподражаемые стихи:

«У лукоморья дубъ зеленый,
«Златая цѣпь на дубѣ томъ»...

началъ разсказывать о планѣ для драмы *„Дмитрій Самозванецъ“*, о палачѣ, который шутитъ съ чернью, стоя у плахи на Красной площади въ ожиданіи Шуйскаго, о Маринѣ Мни-

шекъ съ Самозванцемъ... Эту сцену сочинилъ поэтъ, гуляя верхомъ, и потомъ позабылъ вполовину и глубоко сожалѣлъ.

— „О, какое удивительное то было утро, — утро, оставившее слѣды на всю жизнь! — восклицаетъ очевидецъ. — Не помню, какъ мы разошлись, какъ докончили день, какъ улеглись спать. Да едва ли кто и спалъ изъ насъ въ эту ночь: такъ былъ потрясенъ весь нашъ организмъ".

Пушкинъ могъ торжествовать. Правда, его произведеніе привѣтствовала только избранная публика,—но это служило лишь къ чести поэта. Къ сожалѣнію, и теперь не суждена была Пушкину продолжительная и прочная радость. Уже нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ возвращенія изъ ссылки, Пушкина встрѣчаютъ грустнымъ, ему будто чего-то недостаетъ, онъ казался разсѣяннымъ, мрачнымъ, его угнетало какое-то тайное и въ высшей степени болѣзненное чувство.

И оно съ этихъ поръ уже не покидало его окончательно до самой смерти. Причинъ было много, и онѣ росли чуть не съ каждымъ днемъ.

XII.

Пушкинъ не могъ считать себя счастливымъ ни въ какомъ отношеніи,—ни въ своей личной жизни, ни въ своей писательской дѣятельности. Царь освободилъ его отъ цензуры; но это освобожденіе скоро утратило почти всякую силу и создало для поэта безчисленное множество огорченій и затрудненій. Посредникомъ между государемъ и Пушкинымъ былъ назначенъ графъ Бенкендорфъ, шефъ жандармовъ, и это посредничество оказалось величайшимъ несчастіемъ для поэта. Бенкендорфъ не питалъ ни малѣйшаго уваженія ни къ русской литературѣ, ни къ русскому писателю,—кто бы онъ ни былъ; Пушкинъ, въ его глазахъ, являлся просто стихотворцемъ, очень подозрительнымъ, безпокойнымъ, вообще, совершенно лишнимъ при строгомъ порядкѣ въ государствѣ.

И Бенкендорфъ не пропускалъ случая лично оскорбить и раздражить поэта, сдѣлать ему выговоръ, задержать его произведеніе, даже разрѣшенное государемъ.

Стоило Пушкину прочитать въ обществѣ „*Бориса Годунова*“, напечатать въ журналѣ стихи, разрѣшенные цензурой, но не представленные Бенкендорфу—и немедленно летѣлъ запросъ графа: почему все это случилось? Какъ поэтъ могъ *обмануть* довѣріе къ нему? Даже переѣхать изъ одного города въ другой Пушкинъ не имѣлъ права, не испросивъ предварительнаго разрѣшенія Бенкендорфа! Поэтъ непрестанно чувствовалъ надъ собой грозу и гнетъ. Бенкендорфъ явно дѣйствовалъ по собственному усмотрѣнію и давалъ неограниченную волю своему издѣвательству надъ личностью Пушкина, нисколько не сообразуясь съ волей государя; но отъ этого Пушкину не было легче,—напротивъ, преслѣдованія Бенкендорфа казались ему еще оскорбительнѣе и невыносимѣе.

Бенкендорфъ не оставлялъ въ покоѣ сочиненій Пушкина,—не только какъ шефъ жандармовъ, но и какъ критикъ. Онъ поручалъ своимъ чиновникамъ писать отзывы о произведеніяхъ поэта, подвергать разбору „*Бориса Годунова*“ и даже предлагать передѣлки и поправки. Нѣкоторыя произведенія Пушкина послѣ этой критики совсѣмъ не доходили до государя: Бенкендорфъ оставался единственнымъ вершителемъ ихъ судьбы, и Пушкинъ вынужденъ представлять ему свои рукописи на благосклонное усмотрѣніе и отъ него ждать жизни или смерти.

Такимъ образомъ, царскую милость Бенкендорфъ сумѣлъ превратить въ источникъ только новыхъ мученій для ненавистнаго ему писателя.

Личная жизнь Пушкина также не сулила ему большихъ радостей. Онъ уже давно пережилъ свою молодость, къ тридцати годамъ считалъ себя человѣкомъ пожилымъ; ему становились ненавистны молодыя общества, онъ избѣгалъ даже

встрѣчаться съ прежними пріятелями по ресторанамъ и театрамъ, его тянуло къ трудовой семейной жизни, онъ хотѣлъ теперь безраздѣльно отдаться умственной и творческой работѣ. И мысль—жениться, устроить свой домъ—не покидаетъ Пушкина.

Но, съ другой стороны, ему становится жутко; тяжелыя предчувствія начинаютъ преслѣдовать его. Онъ припоминаетъ, сколько несчастныхъ браковъ было у его предковъ, и самъ невольно боится за свое будущее. Онъ дѣлится своими опасеніями съ сестрой; та утѣшаетъ его, но съ ней согласны далеко не всѣ друзья Пушкина. Они также не увѣрены въ прочномъ семейномъ счастьѣ геніальнаго поэта, они не желали бы видѣть его зависимымъ отъ разныхъ житейскихъ дрязгъ, его талантъ — въ тискахъ разныхъ супружескихъ мелочей. Но тоска поэта по семьѣ неизлѣчима: онъ ищетъ только случая.

Случай представляется. На балу Пушкинъ встрѣчаетъ шестнадцатилѣтнюю дѣвушку, изъ свѣтской семьи, очень красивую,—и въ сердцѣ поэта загорается глубокая любовь. Онъ говоритъ шутливо своимъ друзьямъ:

«Я восхищенъ, я очарованъ,
«Короче—я *огончарованъ*!»

Имя красавицы—Наталья Николаевна Гончарова. Семья ея не богата и еще очень недавно попала въ аристократы: дѣдъ Натальи Николаевны былъ калужскимъ купцомъ и заводчикомъ, отецъ страдалъ душевной болѣзнью, и воспитаніемъ дочерей завѣдывала мать. Цѣль ея заключалась—вырастить свѣтскую барышню, прекрасную гостью для баловъ, искусницу въ танцахъ и во французскомъ языкѣ и выдать ее за человѣка богатаго и чиновнаго. Наталья Николаевна почти ничего не читала, дома вела жизнь несовершеннолѣтняго ребенка и едва знала о Пушкинѣ, какъ поэтѣ. Объ увлеченіи

ея не могло быть и рѣчи, а матери, кромѣ того, были извѣстны отношенія Бенкендорфа къ поэту; все это не обѣщало Пушкину удачи; дѣйствительно, на первое предложеніе онъ получилъ уклончивый отвѣтъ, уѣхалъ на Кавказъ, принялъ участіе даже въ военныхъ дѣйствіяхъ,—но и по возвращеніи не встрѣтилъ благосклоннаго пріема у Гончаровыхъ. Въ отчаяніи, поэтъ просилъ у властей разрѣшенія уѣхать за границу, даже — въ Китай, вмѣстѣ съ посольствомъ. Наконецъ, Пушкинъ сдѣлалъ новое предложеніе, его приняли на этотъ разъ, но съ свадьбой не спѣшили. Съ мая ее постоянно откладывали до февраля будущаго года.

Будущая теща по-прежнему считала поэта человѣкомъ опаснымъ, отдаляла его отъ дочери, вела съ нимъ крайне оскорбительные разговоры, передавала невѣстѣ всевозможныя сплетни; но въ тоже время семья невѣсты усердно пользовалась помощью Пушкина въ своихъ разстроенныхъ денежныхъ дѣлахъ. Поэтъ часто впадалъ въ отчаяніе, не зная, что съ собой дѣлать, хлопоталъ о приданомъ, хотѣлъ писать:— наступала осень—обычное время его вдохновеній,—но не было ни времени, ни душевнаго спокойствія.

Все это до послѣдней степени измучило поэта. Тяжелыя предчувствія все больше угнетали его, и незадолго до свадьбы онъ меньше всего чувствовалъ себя счастливымъ. Онъ вступалъ въ новую жизнь, будто навсегда прощаясь съ жизнью, — и случалось, въ минуты сильныхъ волненій, на глазахъ накипали слезы. Что-то тайное говорило поэту, что не на радость онъ обзаводится семьей. Наконецъ, незадолго до свадьбы, Пушкинъ узналъ о смерти Дельвига. Вѣсть потрясла его, онъ не могъ утѣшиться въ утратѣ—даже немедленно послѣ брака и до самой своей смерти. Въ довершеніе всего, бракосочетаніе совершилось не вполнѣ счастливо. Пушкинъ видѣлъ печальныя предзнаменованія: онъ нечаянно задѣлъ ногой за аналой и уронилъ крестъ; при обмѣ-

нѣ колецъ—одно упало на полъ... Поэтъ измѣнился въ лицѣ

Наталья Николаевна Гончарова.

и здѣсь же шепнулъ одному изъ присутствующихъ: — „все дурныя предзнаменованія...“

Но какъ бы то ни было, съ 18 февраля 1831 года жизнь поэта вступила въ новый путь. Онъ переѣхалъ въ Петербургъ и снова сталъ чиновникомъ по министерству иностранныхъ дѣлъ.

Первый же вопросъ, какой предстояло рѣшить Пушкину,— касался средствъ къ жизни. Красавица-жена готовилась блистать въ петербургскомъ обществѣ,—и мужъ вполнѣ сочувствовалъ этому желанію. Онъ отнюдь не желалъ превратить жену въ домосѣдку и хозяйку,—напротивъ, призвалъ на помощь всѣ свои силы, чтобы окружить жену полнымъ счастьемъ и блескомъ.

Ей необходимо бывать при дворѣ,—и Пушкинъ становится камеръ-юнкеромъ. Это званіе дается молодымъ людямъ, оно совсѣмъ не къ лицу уже сѣдѣющему и знаменитому поэту; онъ смѣшонъ въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ,—и онъ это знаетъ. Но онъ, по своему малому чину, не можетъ получить другого, болѣе высшаго придворнаго званія, а камеръ-юнкерство даетъ женѣ право пріѣзжать ко двору: приходится мириться. Это плохо удается поэту. Онъ безпрестанно пропускаетъ придворныя празднества, отговаривается болѣзнью, получаетъ за это замѣчанія и, вообще, не испытываетъ ни малѣйшаго благополучія въ расшитомъ мундирѣ. Крайне неохотно посѣщаетъ Пушкинъ и вообще балы: онъ жестоко скучаетъ, впадаетъ даже въ дремоту и развлекается однимъ мороженымъ.

Но все-таки главная бѣда — не въ балахъ и придворныхъ пріемахъ, а въ бѣдности поэта. Средства требуются очень большія, знакомства все великосвѣтскія, туалеты жены должны быть великолѣпны,—а источники скудные. За женой Пушкинъ не взялъ приданаго; помѣстья его отца давно уже находились въ полномъ разстройствѣ, обремененныя долгами. Отецъ отдѣлилъ Пушкину село Болдино, въ Нижегородской губерніи, но его немедленно пришлось заложить, чтобы

достать денегъ на свадьбу. И съ тѣхъ поръ Пушкинъ не перестаетъ возиться съ залогами, съ опекунскимъ совѣтомъ, съ погашеніемъ долговъ, съ новыми займами. Вскорѣ поэтъ до такой степени запутался въ своихъ денежныхъ дѣлахъ, что нашелъ единственное средство—сколько-нибудь выпутаться изъ нужды — уѣхать изъ Петербурга, и для этого отказаться совсѣмъ отъ службы.

Но это рѣшеніе встрѣтило неудовольствіе сразу съ двухъ сторонъ: Наталья Николаевна, разумѣется, не желала разстаться со столицей, а Бенкендорфъ, на просьбу Пушкина объ отставкѣ, взглянулъ, какъ на неблагодарность поэта за царскія милости. Пушкинъ испугался — и взялъ просьбу назадъ.

Приходилось изворачиваться всѣми средствами, — и Пушкинъ набрасывается на работу, не знаетъ отдыха и покоя, одѣвается кое-какъ; надъ нимъ даже глумятся свѣтскія дамы и кавалеры, подозрѣваютъ въ небрежномъ его костюмѣ особое, нарочно придуманное щегольство. На самомъ дѣлѣ, Пушкинъ просто отказывался тратить деньги на себя, предоставляя наряжаться женѣ.

Онъ задумалъ написать исторію пугачевскаго бунта, выхлопоталъ разрѣшеніе работать въ архивахъ и пожелалъ осмотрѣть край, гдѣ происходило возстаніе, поискать современниковъ Пугачева, собрать свѣдѣнія на мѣстѣ. И поэтъ отправляется на Поволжье, посѣщаетъ Казань, Симбирскъ, Оренбургъ, Уральскъ; ѣдетъ потомъ въ Болдино и приводитъ въ порядокъ свои записки. Книга пишется очень быстро; за это Пушкина укоряютъ его же пріятели,—но ждать некогда: „Пугачевъ“ долженъ погасить неотложные долги. Государь даетъ на печатанье *исторіи* 20,000 рублей; но они не облегчаютъ положенія. Ежегодно надо тратить, по крайней мѣрѣ, 30,000 рублей, главный и даже единственный источникъ доходовъ—писательскій трудъ. Но чтобы писать, надо уедине-

ніе, а оно почти невозможно при свѣтской жизни: надо бывать въ гостяхъ, сопровождать жену на балы, у себя устраивать пріемы.

И Пушкинъ живетъ въ вѣчной тревогѣ. Его не покидаетъ мысль, чѣмъ будетъ жить семья послѣ его смерти? Да и при немъ,—откуда достать столько денегъ? Казна даетъ ему взаймы еще 30,000 рублей подъ его жалованье, поэтъ перестаетъ получать свои ежегодныя 5,000,—и нужда не уменьшается.

Поэтъ задумываетъ, наконецъ, издавать журналъ. Разрѣшеніе даютъ не сразу, но все-таки даютъ. Пушкинъ горячо принимается за дѣло; его имя, повидимому,—порука въ успѣхѣ. Но, кромѣ громкой писательской славы, для изданія журнала необходимо имѣть практическую смѣтливость и расчетливость. Этихъ качествъ нѣтъ у Пушкина, и онъ терпитъ значительные убытки.

Изданіе „*Современника*“ — послѣднее литературное предпріятіе Пушкина и послѣднее разочарованіе. Но и до этой предсмертной неудачи поэтъ не зналъ продолжительной и прочной радости.

Онъ страстно любилъ жену, но не находилъ въ ней по душѣ близкаго себѣ человѣка. Она не умѣла цѣнить его генія, мало читала его произведеній и не интересовалась его писательской славой. Свѣтское общество и балы доставляли ей больше удовольствія, чѣмъ самое блестящее стихотвореніе мужа, даже имъ самимъ прочитанное. Наталья Николаевна до самозабвенія увлекалась свѣтскими удовольствіями, не щадила своего здоровья, нерѣдко опасно заболѣвала и повергала мужа въ ужасъ и отчаяніе. А между тѣмъ, ему постоянно приходилось быть въ отъѣздѣ, и его безпокойство мѣшало ему думать и работать.

Онъ вынужденъ въ письмахъ давать женѣ подробнѣйшія наставленія насчетъ ея жизни, хозяйства и особенно—дѣтей. Поэтъ не чаялъ души въ своихъ дѣтяхъ. Они составляли

высшее его счастье. Особенно онъ очарованъ „рыжимъ Сашкой“. Онъ безпрестанно говоритъ о немъ въ письмахъ, а дома всегда присутствуетъ, когда маленькаго одѣваютъ, кладутъ въ кроватку, убаюкиваютъ, прислушивается къ его дыханію; уходя, три раза перекреститъ, поцѣлуетъ въ лобикъ и долго стоитъ въ дѣтской, имъ любуясь. Любитъ онъ и дѣвочку и въ письмахъ не забываетъ дать женѣ совѣтъ, какъ кормить „беззубую Пускину“, какъ ухаживать за ней. Это—нѣжнѣйшій и заботливѣйшій отецъ, несмотря на множество хлопотъ и дѣлъ.

Не послѣдняя изъ этихъ хлопотъ—молодое, легкомысленное пристрастіе жены къ свѣту, къ любезностямъ свѣтскихъ кавалеровъ. Наталья Николаевна наслаждалась торжествомъ своей красоты, съ удовольствіемъ прислушивалась къ восторгамъ франтовъ, передавала эти восторги мужу. У нея и въ мысляхъ не было, кого бы то ни было предпочесть мужу, но ей казалось слишкомъ соблазнительнымъ—считаться первой красавицей, быть всегда окруженной блестящими поклонниками, видѣть, какъ остроумные болтуны стараются вызвать ея улыбку, занять ея вниманіе.

Пушкинъ ни на минуту не сомнѣвался въ вѣрности своей жены, но онъ не могъ допустить, чтобы его женѣ говорились пошлыя остроты, чтобы она сама увлекалась свѣтскими пустяками,—и онъ усердно предостерегалъ ее разборчиво обращаться съ людьми, не забывать своего достоинства. Ученица была слишкомъ молода и слишкомъ привыкла къ свѣтской суетѣ, чтобы наставленія мужа шли впрокъ,—и Пушкинъ мучительно волновался во время своихъ отлучекъ изъ дому. Онъ зналъ, что въ Петербургѣ среди большого свѣта у него нѣтъ друзей и доброжелателей, что сплетни не перестаютъ чернить его личность, что враги только ищутъ случая вырыть ему пропасть.

И поэтъ былъ правъ. Враги не дремали, и случай представился.

XIV.

Аристократы упорно не желали признавать Пушкина своимъ человѣкомъ. Въ ихъ глазахъ, онъ оставался выскочкой, дерзкимъ умникомъ и смѣшнымъ, случайнымъ камеръ-юнкеромъ. Онъ былъ бѣденъ, доставалъ средства къ жизни умственнымъ трудомъ, одѣвался скромно, не любилъ свѣтскихъ увеселеній, весьма часто давалъ волю своему острому языку; глупцы и разнаго сорта комедіанты дрожали при одной мысли—стать мишенью грознаго поэта; всякая попытка съ ихъ стороны позубоскалить надъ нимъ мгновенно возмѣщалась сторицей, приходилось отступать со стыдомъ, съ невыносимо-горькимъ убѣжденіемъ въ недосягаемомъ, непобѣдимомъ превосходствѣ „выскочки“, и оставалось одно средство — мстить тайно, темными путями, бросать камнями изъ-за угла.

И война началась почти немедленно, лишь только Пушкинъ съ женой поселились въ Петербургѣ. Праздные ротозѣи-сплетники сейчасъ же подмѣтили самую чувствительную черту въ характерѣ поэта,—его болѣзненный страхъ за доброе имя жены. На этотъ страхъ и направились козни враговъ и просто любителей скандала. Кстати подвернулось и очень удобное орудіе,—иностранный выходецъ, по имени Жоржъ Дантесъ.

Прибылъ онъ изъ Франціи—съ единственными правами на вниманіе русскаго общества:—умѣньемъ болтать всякій вздоръ по-французски, говорить весьма смѣлыя остроты дамамъ и барышнямъ, ловко носить военную форму, воображая себя красавцемъ, и хвастать своими успѣхами въ салонахъ. Дѣйствительно, въ петербургскихъ гостиныхъ оцѣнили Дантеса и, разумѣется, предпочли его какому угодно поэту. Дантесъ не былъ злымъ человѣкомъ, не питалъ личной вражды къ Пушкину и не имѣлъ никакихъ побужденій убивать его. Главные пороки Дантеса—легкомысліе, пошлость и умствен-

ная ограниченность; руку же его противъ Пушкина направили другіе люди, и среди нихъ усерднѣе всего старались не иностранцы, а русскіе, носившіе громкія аристократическія фамиліи.

Дантесу сразу повезло въ Петербургѣ. Французскій художникъ, пользовавшійся благосклонностью Николая I, познакомилъ его съ государемъ. Оказалось,—государь уже слышалъ о немъ отъ императрицы: такъ искусно и быстро умѣлъ Дантесъ позаботиться о своихъ дѣлахъ. Благосклонность царя онъ пріобрѣлъ съ первой же минуты: онъ до прихода императора въ мастерскую художника нарисовалъ голову французскаго короля Людовика Филиппа—въ видѣ груши. Такъ на каррикатурахъ обыкновенно изображали Людовика Филиппа, и царь его терпѣть не могъ. Онъ увидѣлъ рисунокъ и спросилъ, кто его сдѣлалъ? Дантесъ находился здѣсь же, за ширмами; немедленно состоялось представленіе; Дантесъ былъ принятъ въ кавалергардскій полкъ, ему, какъ человѣку бѣдному, но благородному, назначено негласное ежегодное пособіе.

Вскорѣ еще одно благодѣяніе судьбы упало на голову счастливца. Онъ умѣлъ очаровать голландскаго посланника, барона Геккерена, старика крайне предосудительной нравственности, но съ громаднымъ состояніемъ. Геккеренъ усыновилъ Дантеса

Всѣ эти удачи окрылили молодого красавца. Теперь онъ считалъ себя въ правѣ вести себя въ русскомъ обществѣ вполнѣ свободно и даже дерзко, сыпалъ глупыми и подчасъ грубыми остротами направо и налѣво, ухаживалъ за всѣми, но за его не направили преимущественно на жену Пушкина.

Дантесъ, конечно, и самъ замѣтилъ бы блестящую красавицу, но враги поэта постарались сдѣлать Дантеса для Пушкина причиной невыносимыхъ мученій и обидъ. Пустили въ ходъ и стараго барона, готоваго на всякую сплетню и тем-

ную продѣлку. Онъ часто говорилъ Натальѣ Николаевнѣ о чувствахъ своего сына къ ней, говорилъ о его неимовѣрныхъ страданіяхъ. Самъ Дантесъ на балахъ не отходилъ отъ Пушкиной и привлекалъ всеобщее вниманіе своими ухаживаніями.

Сначала Пушкинъ очень благодушно относился къ Дантесу, смѣялся его остротамъ, принималъ его у себя. Это не нравилось свѣтскимъ сплетникамъ. Они принялись распускать слухи о подозрительныхъ отношеніяхъ Дантеса къ Натальѣ Николаевнѣ. Пушкинъ рѣшилъ не принимать его больше; но онъ и жена безпрестанно встрѣчались съ Дантесомъ у знакомыхъ, и старикъ Геккеренъ не пропускалъ случая поговорить съ Пушкиной о чувствахъ къ ней его сына. Одновременно по Петербургу начали разсылаться письма, въ высшей степени оскорбительныя для жены Пушкина и его самого. Пушкинъ получилъ нѣсколько этихъ посланій и сначала, повидимому, хотѣлъ пренебречь продѣлкой неизвѣстныхъ негодяевъ.

— Безыменнымъ письмомъ я обижаться не могу!—говорилъ онъ одному изъ своихъ знакомыхъ.—Если кто-нибудь сзади плюнетъ на мое платье, такъ это—дѣло моего камердинера—вычистить платье, а не мое. Жена моя—ангелъ; никакое подозрѣніе коснуться ея не можетъ.

Друзья поэта радовались такому презрѣнью; но, очевидно, оно не легко доставалось пылкой и гордой душѣ Пушкина. Вскорѣ онъ получилъ новыя письма,—но все еще крѣпился. Положеніе было безвыходное; онъ становился притчей всего города; съ другой стороны, изъ-за низкой выходки приходилось отдавать на жертву сплетникамъ имя страстно любимой жены. Пушкинъ нашелъ единственный достойный исходъ: смыть обиду кровью, какъ это принято въ свѣтскомъ кругу, и, такъ какъ Дантесъ являлся поводомъ къ сплетнѣ,—Пушкинъ послалъ ему вызовъ на дуэль.

Дантесъ принялъ вызовъ, но отецъ его просилъ отсрочить дуэль на двѣ недѣли. Въ этотъ промежутокъ Дантесъ сдѣлалъ предложеніе сестрѣ Натальи Николаевны; Пушкинъ взялъ вызовъ назадъ, и свадьба произошла 10 января 1837 года.

Пушкинъ все-таки не желалъ имѣть родственныхъ отношеній съ виновникомъ своихъ мученій. Онъ не хотѣлъ видѣть его у себя и бывать у него. Дантесъ не успокоился, онъ продолжалъ настойчиво выказывать Натальѣ Николаевнѣ свои любезности; враги поэта нарочно приглашали на вечера и Пушкина и Дантеса вмѣстѣ; баронъ Геккеренъ старался усерднѣе всѣхъ и не переставалъ надоѣдать женѣ Пушкина разговорами о Дантесѣ. Все это Пушкинъ видѣлъ и зналъ, но, наконецъ, не выдержалъ и послалъ въ высшей степени оскорбительное письмо барону. Дуэль стала неизбѣжной, Дантесъ явился мстителемъ за отца,—и поэтъ погибъ.

Онъ до конца не вѣрилъ въ роковой исходъ, по крайней мѣрѣ, въ самый день дуэли. Онъ разсчитывалъ остаться въ живыхъ, покинуть Петербургъ и отдаться любимому труду. Правда, незадолго до кроваваго конца, его волновали зловѣщія предчувствія. Онъ, между прочимъ, вспоминалъ предсказаніе гадальщицы, услышанное имъ давно, вскорѣ послѣ выхода изъ лицея и навсегда оставшееся у него въ памяти. Пушкинъ вѣрилъ предсказанію и много разъ передавалъ его своимъ друзьямъ.

Въ 1818 году въ Петербургѣ славилась умѣньемъ гадать старуха-нѣмка, по имени Кирхгофъ. Заинтересованный разсказами объ ея предсказаніяхъ, Пушкинъ съ пріятелемъ вздумалъ отправиться къ ворожеѣ. Когда они вошли къ ней, Кирхгофъ обратилась прямо къ Пушкину, назвала его замѣчательнымъ человѣкомъ, очень вѣрно разсказала ему его прошедшую жизнь и прибавила:—„сегодня вы будете имѣть разговоръ о службѣ и черезъ письмо получите неожидан-

ныя деньги". Наконецъ, будто прозрѣвая въ будущее, ворожея сказала:—„ты будешь два раза въ изгнаніи, сдѣлаешься кумиромъ своихъ соотечественниковъ, можетъ-быть, проживешь долго... Однако, на 37 году жизни берегись бѣлаго человѣка, бѣлаго коня или бѣлой головы"...

Дантесъ былъ бѣлокуръ и носилъ бѣлый мундиръ: предсказаніе припоминалось невольно, тѣмъ болѣе что всѣ остальныя слова ворожеи осуществились, а первая, маловажная часть предсказанія—насчетъ денегъ—сбылась даже въ тотъ же день, а немного спустя — и насчетъ службы. Пушкинъ ждалъ исполненія и всего остального...

Но независимо отъ предсказанія Пушкинъ уже за нѣсколько мѣсяцевъ до дуэли переживалъ невыносимо мучительное настроеніе. Вѣчныя встрѣчи съ тайными и явными врагами, безчисленныя притѣсненія со стороны Бенкендорфа, то запрещавшаго, то задерживавшаго произведенія поэта, безпокойство изъ-за жены, лихорадочная забота о средствахъ — все это въ конецъ разстроило Пушкина. Онъ жаловался на тягость жизни, говорилъ о предчувствіи близкой смерти. На похоронахъ матери, весной 1836 года, онъ сказалъ сестрѣ:

— Если бы ты знала, милая сестра, какъ мнѣ тягостно мое существованіе... Надѣюсь, оно не будетъ продолжительно,—скажу тебѣ лучше: я это чувствую...

Въ томъ же году Пушкинъ встрѣчалъ послѣднюю лицейскую годовщину. Онъ приготовилъ ко дню 19-го октября обычное стихотвореніе. На праздникъ онъ явился съ листомъ бумаги; настало время читать, онъ развернулъ листъ и началъ:

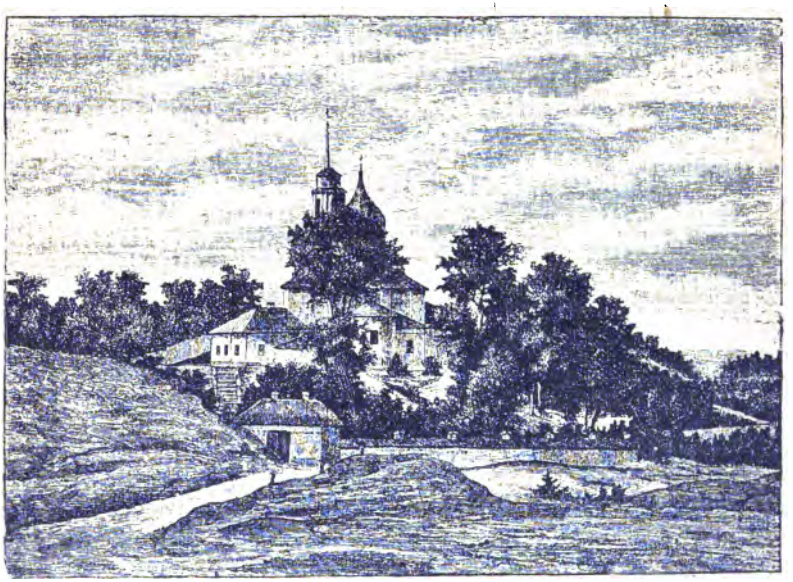
«Была пора: нашъ праздникъ молодой
«Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался...»

Вдругъ слезы полились изъ его глазъ, голосъ прервался; Пушкинъ положилъ бумагу на столъ и отошелъ въ уголъ

комнаты. За него товарищъ прочиталъ его послѣднюю *„Лицейскую годовщину...“*

Тучи скоплялись долго,—можно сказать—въ теченіе лѣтъ, люди и обстоятельства губили великаго человѣка, борьба требовалась продолжительная.

Она закончилась 27-го января, въ пятомъ часу вечера, на



Святогорскій монастырь.

Черной рѣчкѣ. Дантесъ поспѣшилъ выстрѣлить первымъ; послѣ онъ объяснялъ свою поспѣшность страхомъ предъ безпощаднымъ выраженіемъ лица Пушкина. Пуля нанесла смертельную рану въ нижнюю часть живота. Пушкинъ упалъ, но потомъ приподнялся и выстрѣлилъ въ противника. Дантесъ также упалъ. Пушкинъ крикнулъ:—„браво!“ Но рана оказалась въ руку и очень легкой.

Пушкинъ жилъ почти двое сутокъ, до четырехъ часовъ 29-го января, и мужественно переносилъ жестокія страданія. Онъ простилъ Дантеса и просилъ своего секунданта, лицейскаго товарища,—Данзаса,—не мстить убійцѣ. Онъ до послѣдней минуты не переставалъ заботиться о женѣ, призывалъ ее къ себѣ, утѣшалъ ее и старался скрыть отъ нея опасность своего положенія. Чувствуя приближеніе конца, онъ простился съ женой, дѣтьми, друзьями, просилъ передать государю благодарность за обѣщаніе позаботиться объ его семьѣ...— „Жизнь кончена, тяжело, давитъ“,—были его послѣднія слова.

Тѣло одѣли въ платье очень поношенное и старомодное, на руки положили простой образъ, безъ всякаго оклада, съ едва замѣтными чертами живописи; катафалкъ былъ низкій, подсвѣчники горѣли весьма старые,—вообще, вся обстановка вышла въ высшей степени скромной, даже бѣдной. Семья растерялась, да и денегъ осталось послѣ покойнаго всего около трехсотъ рублей. Вся надежда была на слово государя...

Но для Пушкина начался другой почетъ, несравненно болѣе внушительный, чѣмъ пышныя похороны.

Уже при первомъ слухѣ о томъ, что жизнь Пушкина въ опасности, многотысячная толпа направилась къ его дому,— люди всякаго званія и состоянія. И стеченіе народа не прекращалось оба дня, многіе плакали, на лицахъ у всѣхъ читалось глубокое участіе и истинно-народное горе. Иностранцы также поняли, кого теряютъ Россія и весь просвѣщенный міръ, и во множествѣ явились склониться предъ умирающимъ... Близкій другъ Пушкина, видѣвшій это трогательное благоговѣніе предъ великимъ человѣкомъ, писалъ отцу Пушкина:

„Въ поклоненіи генію всѣ народы—родня, и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ оди

наковою братскою скорбью. Пушкинъ, по своему генію, былъ

Могила А. С. Пушкина въ Святогорскомъ монастырѣ.

собственностью не одной Россіи, но и цѣлой Европы".

Это было ясно уже при гробѣ Пушкина,—это стало еще яснѣе съ теченіемъ времени.

XV.

Всѣ свидѣтели смерти и проводовъ Пушкина единодушно и настойчиво говорятъ объ одномъ и томъ же въ высшей степени замѣчательномъ явленіи: ко гробу Пушкина рядомъ съ писателями, съ людьми высшаго просвѣщенія, шла сѣрая народная толпа. Даже люди безграмотные считали своимъ долгомъ поклониться праху поэта. Весь городъ будто одѣлся въ трауръ, перестали посѣщать театры, густыя безмолвныя толпы *простонародья* благоговѣйно вступали въ печальный домъ, гдѣ лежало тѣло Пушкина... Такъ разсказываетъ нерусскій и изумляется силѣ народнаго чувства. И это зрѣлище было торжествомъ истинно-народнаго русскаго генія: Пушкинъ оставилъ послѣ себя богатое наслѣдство, умирая въ полномъ расцвѣтѣ силъ и таланта.

Мы видѣли, какимъ путемъ и къ какой цѣли шелъ великій поэтъ,—шелъ твердо, ни на минуту не колеблясь и не измѣняя голосу своей природы. Это—путь свободнаго вдохновенія, и цѣль—быть поэтомъ родной жизни и родного народа.

Пушкинъ въ молодости могъ поддаться силѣ и блеску чужой поэзіи, могъ подражать другимъ поэтамъ, подчиниться особенно таланту Байрона, но все это—только ученичество, приготовительная дорога къ независимой работѣ, къ самостоятельному изученію русскаго быта, русскихъ людей и къ правдивому изображенію сначала русскаго общества, потомъ—русскаго народа.

И Пушкинъ внимательно изучаетъ русскаго человѣка и въ настоящемъ и прошломъ. Онъ первый стремится, чтобы его поэзія была такъ же правдива, какъ исторія,—и онъ пи-

шетъ романъ, драмы, повѣсти, всюду оставаясь простымъ разсказчикомъ, правдивымъ живописцемъ. Его увлекаетъ русская старина, и онъ воскрешаетъ ее въ повѣстяхъ—«*Дубровскій*», «*Арапъ Петра Великаго*», «*Капитанская дочка*». И здѣсь онъ такъ вѣрно рисуетъ старый, русскій бытъ, такъ глубоко умѣетъ заглянуть въ душу давно отжившихъ людей, что впослѣдствіи ученые историки признаютъ за разсказами Пушкина историческое достоинство, назовутъ ихъ зеркаломъ родной старины.

Во всѣхъ этихъ повѣстяхъ первое мѣсто принадлежитъ помѣщикамъ, высшимъ дворянамъ, офицерамъ; но рядомъ съ ними являются и простые люди—мужики, солдаты. И никто до Пушкина не умѣлъ такъ ясно и сердечно понять народный умъ и народную душу.

Это съ перваго взгляда оцѣнилъ величайшій изобразитель мелкой, будничной русской жизни—Гоголь.

Гоголь познакомился съ Пушкинымъ въ очень тяжелое для себя время. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ изъ родной Малороссіи; сталъ, было, чиновникомъ, но душа его требовала другого пути, и онъ искалъ его долго и мучительно. На помощь явился Пушкинъ. Онъ немедленно разгадалъ великое дарованіе скромнаго, малообразованнаго и совсѣмъ не свѣтскаго малоросса. Онъ привязался къ нему со всею искренностью и горячностью своего благороднаго сердца, взялъ на себя трудъ — развивать его умъ, поощрять его талантъ, облегчить ему первые шаги къ славѣ.

Пушкинъ—первый писатель въ Россіи, родовитый аристократъ, самъ посѣщаетъ Гоголя въ его убогой каморкѣ, проводитъ съ нимъ въ бесѣдѣ цѣлыя ночи, когда часто у Гоголя даже и свѣчей не бывало, заставляетъ его возмѣстить недостатокъ образованія чтеніемъ, подробно указываетъ ему, какія книги читать, самъ читаетъ съ нимъ. Такъ какъ Гоголь отличался большой застѣнчивостью въ обществѣ и неохотно разгова-

ривалъ, особенно въ присутствіи дамъ,—Пушкинъ видѣлся съ нимъ наединѣ, восхищался его первыми литературными трудами и самъ сообщалъ ему свои планы.

Пушкинъ первый привѣтствовалъ разсказы Гоголя—«*Вечера на хуторѣ близъ Диканьки*»; восхитился ихъ веселостью и поэзіей, и давалъ самый лестный отзывъ о книгѣ:—„все это такъ необыкновенно,—писалъ онъ,—въ нашей нынѣшней литературѣ, что я доселѣ не образумился“.

И это не былъ мимолетный, случайный восторгъ. Вскорѣ Пушкинъ краснорѣчиво доказалъ, какъ онъ высоко ставилъ талантъ Гоголя, и какое сочувствіе вызывалъ у него молодой писатель своей даровитостью.

Въ одну изъ бесѣдъ Пушкинъ разсказалъ Гоголю случай, какъ нѣкій господинъ, уроженецъ Псковской губерніи, недалеко отъ Михайловскаго занимался покупкою мертвыхъ ревизскихъ душъ и попался, наконецъ, властямъ. Досказавъ объ этомъ, Пушкинъ прибавилъ:

— Знаешь ли, Гоголь, это — отличный матеріалъ и какъ разъ мнѣ на руку. Я имъ займусь... Къ стихамъ я нынѣ охладѣлъ и, какъ вамъ извѣстно, занимаюсь прозою.

Гоголь выслушалъ исторію съ видомъ полнѣйшаго равнодушія и не подалъ виду, что принимаетъ ее къ свѣдѣнію. Пушкинъ началъ уже планъ цѣлаго романа похожденія скупщика мертвыхъ душъ, Гоголь предупредилъ его и самому же Пушкину прочиталъ начало своей знаменитой поэмы.

Пушкинъ сначала удивился, но талантливость поэмы совершенно подкупила его, и онъ добродушно говорилъ:

— Языкъ мой—врагъ мой. Гоголь—хитрый малороссъ, воспользовался моимъ предметомъ. Исторію, которую я ему разсказалъ, онъ какъ-будто пропустилъ мимо ушей... Впрочемъ, я не написалъ бы лучше. Въ Гоголѣ бездна юмору и наблюдательности, которыхъ у меня нѣтъ.

И съ тѣхъ поръ Пушкинъ еще усерднѣе сталъ слѣдить

за талантомъ Гоголя. Онъ даетъ ему содержаніе и для «*Ревизора*». Гоголь посылаетъ Пушкину на просмотръ свои рукописи, умоляетъ его—дѣлать замѣчанія, все написанное немедленно сообщаетъ ему, и Пушкинъ не устаетъ благодѣтельствовать его своими совѣтами. Они очень цѣнны. Гоголь доказываетъ это слѣдующимъ письмомъ о своемъ руководителѣ: „Пушкинъ въ послѣднее время набрался много русской жизни и говоритъ обо всемъ такъ мѣтко и умно, что хоть записывай каждое слово: оно стоитъ его лучшихъ стиховъ".

И Пушкинъ побуждалъ Гоголя—работать прилежно, вдумчиво, надъ каждой строкой и словомъ, какъ работалъ онъ самъ. И Гоголь слѣдовалъ волѣ великаго поэта. Какъ многимъ Гоголь обязанъ ему,—онъ самъ объяснилъ по смерти Пушкина. Она невыносимымъ горемъ поразила Гоголя, онъ считалъ эту утрату величайшимъ несчастьемъ своей жизни. Онъ горячо любилъ свою мать, но — говорилъ онъ — и ея смерть не такъ поразила бы его. Къ одному московскому ученому онъ писалъ:

„Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всѣхъ больше. Ты скорбишь, какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби: моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ предъ собой только Пушкина. Ни что мнѣ были всѣ толки... мнѣ дорого было его вѣчное, непреложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что у меня есть хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой («*Мертвыя души*») есть его созданье. Онъ взялъ съ меня и клятву чтобы я писалъ, и ни одна строка не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ

Памятникъ А. С. Пушкину въ Москвѣ.

нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградой. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?..“

И Гоголь долго не въ силахъ былъ продолжать своего труда и не переставалъ до самой смерти вспоминать: „Пушкинъ! какой прекрасный сонъ видѣлъ я въ жизни!“

Такое горе оставилъ по себѣ нашъ поэтъ въ сердцѣ величайшаго наслѣдника своей славы! И это чувство останется его нерукотворнымъ и вѣчнымъ памятникомъ въ исторіи нашей литературы,—памятникомъ геніальнаго проницательнаго ума, благороднаго сердца и столь рѣдкой, возвышенно-рыцарской готовности служить чужому успѣху и чужой славѣ во имя родины.

Отношенія къ Гоголю доказываютъ окончательный поворотъ Пушкина къ будничной русской жизни, неизмѣнное съ этихъ поръ изученіе родной дѣйствительности, какъ бы мелка и неприглядна она ни казалась.

Пушкинъ все сильнѣе привязывается къ маленькому, сѣрому человѣку, беретъ, наконецъ, своимъ героемъ Ивана Петровича Бѣлкина — мелкаго, простого помѣщика, не чиновнаго и не знатнаго и не образованнаго, но смиреннаго, добродушнаго и близкаго къ народу.

Поэтъ, когда-то воспѣвавшій мрачныхъ величавыхъ героевъ, теперь намѣренъ разсказать «*Исторію села Горохина*».

Эта «*Исторія*» будетъ отчасти насмѣшкой надъ высокопарнымъ, торжественнымъ произведеніемъ Карамзина. Пушкинъ уже нанесъ сильный ударъ напыщенной «*Исторіи государства Россійскаго*» своей простой и правдивой «*Исторіей Пугачевскаго бунта*». Онъ показалъ, какъ слѣдуетъ разсказывать историческія событія, безъ всякихъ придуманныхъ цвѣтовъ краснорѣчія. Талантъ поэта—вездѣ быть искреннимъ, естественнымъ—оказалъ великую услугу русской литературѣ даже въ историческихъ сочиненіяхъ.

«*Исторія села Горохина*»—разсказъ о русской деревнѣ, о крѣпостныхъ порядкахъ, о рекрутчинѣ. Такіе предметы началъ описывать блестящій поэтъ, еще такъ недавно воспѣвавшій красоту Кавказа и вольную жизнь цыганъ! Отнынѣ онъ желаетъ свое вдохновеніе отдать „инымъ картинамъ“. Въ нихъ нѣтъ яркихъ красокъ, ничего поразительнаго и необыкновеннаго: но онѣ близки сердцу поэта, потому что онѣ—картины его родины.

И онъ теперь даетъ просторъ своей давнишней любви къ русскимъ сказкамъ. Теперь онъ припомнитъ свои бесѣды съ няней, пересмотритъ все, что записалъ съ ея словъ, переложитъ записки въ сказки и приведетъ въ восторгъ своихъ друзей новыми произведеніями. Его признаютъ побѣдителемъ надъ Жуковскимъ и объявятъ, что съ его «*Сказки о царѣ Салтанѣ*» начинается новое направленіе въ русской литературѣ.

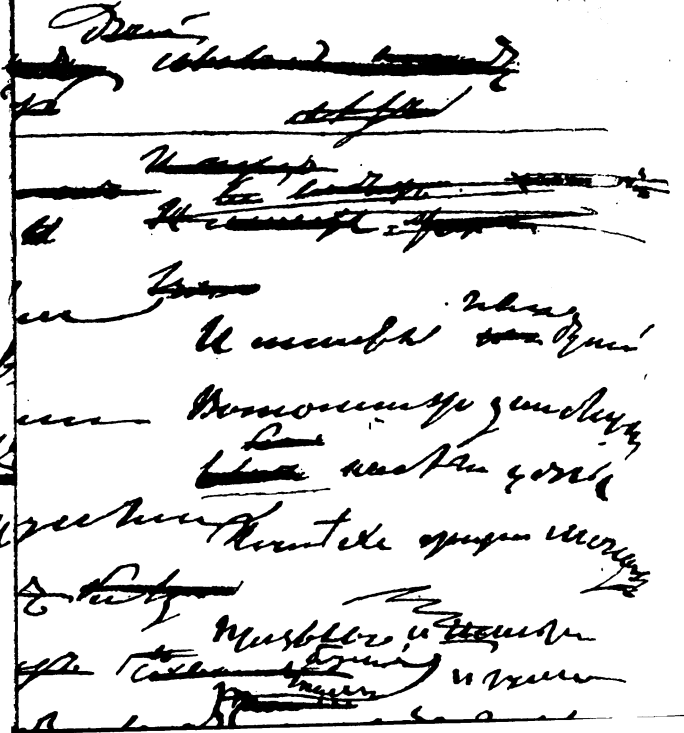
И друзья правы.

Жуковскій разсказывалъ русскія народныя небылицы, какъ баринъ очень талантливый, но все-таки неспособный усвоить простоту и бойкость сказочной рѣчи. Онъ искусно умѣлъ передать въ стихахъ и легенды другихъ народовъ,—въ стихахъ музыкальныхъ, очень красивыхъ. Но для русской сказки недостаточно было одной музыки и красоты; требовалось еще нѣчто духовное, особая сила, которая заставила бы читателя воскликнуть: это, дѣйствительно, русскія лица, здѣсь Русь и Русью пахнетъ!

И вотъ этотъ народный русскій духъ давался Пушкину безъ всякихъ усилій, потому что его собственная природа вся принадлежала родинѣ,—съ ея исторіей, съ ея нравами, съ ея своеобразнымъ умомъ и съ ея будущимъ.

У Пушкина сочувствіе народу доходило часто до удивительнаго простодушія. Онъ не только увлекался народными пѣснями и сказками, любилъ слушать сказочниковъ и пѣвцовъ,—онъ вѣрилъ народнымъ примѣтамъ, сознавался въ

„Полтавы“.



нѣкоторыхъ суевѣріяхъ; при всей своей образованности, безпощадный насмѣшникъ надъ глупостями высшаго общества, онъ именно народныя повѣрья никогда не высмѣивалъ, считалъ ихъ какъ бы предметомъ неприкосновеннымъ. Въ высшей степени замѣчательная черта у образованнѣйшаго и умнѣйшаго человѣка своего времени!

Пушкину въ народныхъ думахъ, въ народной вѣрѣ чудились не простыя побасенки, и не праздная игра воображенія: онъ видѣлъ здѣсь плоды вѣковой опытности, житейскаго ума, хотя бы и въ очень грубомъ видѣ. Врожденный народный умъ — высшее достоинство въ глазахъ поэта, — и онъ такъ внимательно, такъ вдумчиво прислушивался къ русскому говору, такъ пристально вглядывался въ русскую народную жизнь.

Съ аристократами онъ былъ аристократомъ; онъ напоминалъ кичливымъ вельможамъ, что онъ также потомокъ знатнаго боярскаго рода, что онъ „шестисотлѣтній дворянинъ“. Но иначе и трудно было вести себя съ людьми, полагавшими человѣческое достоинство въ происхожденіи и богатствѣ.

Совершенно иначе думалъ Пушкинъ, когда разрѣшалъ вопросъ о личныхъ и родовыхъ достоинствахъ независимо отъ своего положенія въ свѣтскомъ обществѣ. Тогда онъ говорилъ: „имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши родословныя“. „Личныя достоинства выше знатности“; вмѣсто обычнаго правила „чинъ чина почитай“ должно помнить высшую истину: „умъ ума почитай“.

И думать иначе не могъ человѣкъ, горячо любившій свою родину, глубоко понимавшій свой народъ, всю жизнь вѣрно служившій его просвѣщенію своимъ геніальнымъ талантомъ и неподкупнымъ словомъ.

И чѣмъ шире будетъ распространяться свѣтъ ума и знанія въ русскомъ народѣ, чѣмъ богаче будетъ Россія просвѣщенными, честными и талантливыми дѣятелями, тѣмъ блистатель-

нѣе будутъ народныя празднества въ честь Пушкина. Они будутъ законной и справедливой уплатой вѣчнаго долга поэту, который желалъ быть „эхомъ русскаго народа“ и еще въ юности горячо звалъ своего друга на общую работу во славу родины:

«Пока сердца для чести живы,
«Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
«Души прекрасные порывы.
«Товарищъ! Вѣрь, взойдетъ она,
«Заря плѣнительнаго счастья:
«Россія вспрянетъ ото сна»...

PG 3350 .I89 C.1
Pushkin ocherk.
Stanford University Libraries
3 6105 036 817 604

PG
3350
.189

8-00

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.